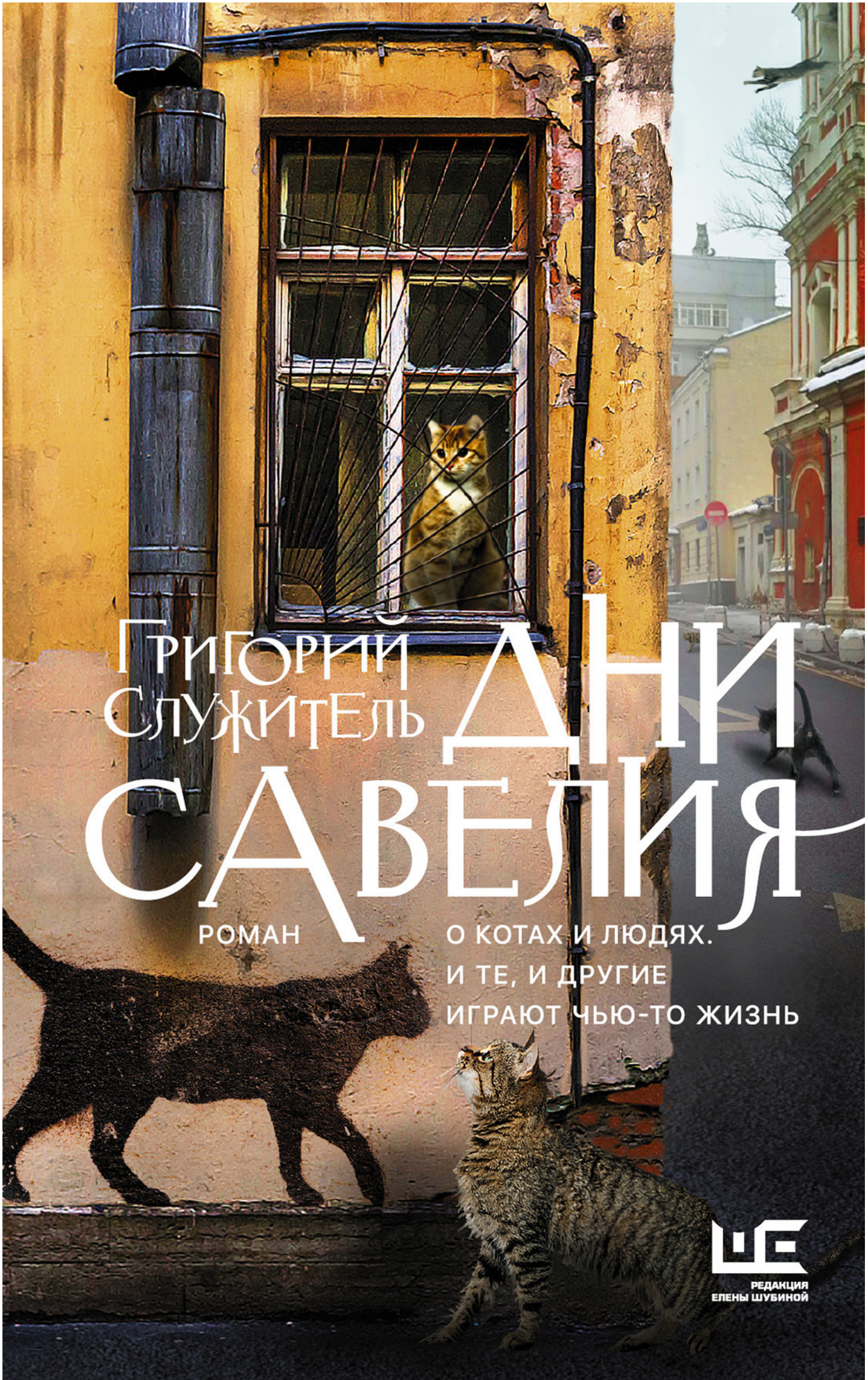


Григорий Служитель

Дни Савелия

РОМАН

О КОТАХ И ЛЮДЯХ.
И ТЕ, И ДРУГИЕ
ИГРАЮТ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

Внеклассное чтение (АСТ)

Григорий Служитель

Дни Савелия

«АСТ»
2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Служитель Г. М.

Дни Савелия / Г. М. Служитель — «АСТ», 2018 — (Внеклассное чтение (АСТ))

Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey. "Дни Савелия" – его первая книга. А нашел эту рукопись Евгений Водолазкин и написал предисловие. "Коты в литературе – тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал об этих священных животных, – от Кота Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Герои Служителя – кто бы они ни были, коты или люди – настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она – так уж сложилось – платоническая. Самая высокая из всех любовей". Евгений Водолазкин

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Служитель Г. М., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Евгений Водолазкин 6
I. Особняк 9
II. Витюша 23
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Григорий Михайлович Служитель
Дни Савелия

Перевод фрагментов на киргизский *Айшат Асанбековой*

© Служитель Г.
© Николаенко А., иллюстрации
© Бондаренко А., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”

* * *

Евгений Водолазкин
Дни Григория

Обнаружив в своем почтовом ящике текст с названием “Дни Савелия”, я по привычке попытался угадать, о чем он. Ассоциации шли в двух направлениях – прозы исторической и деревенской. Если иметь в виду “Дни Турбиных”, скорее все же исторической.

Роман оказался о коте. Прочитав несколько начальных абзацев, я уже не смог оторваться. Дело было не в коте (котов я люблю бесконечно), а в качествах самого текста. В нем не было обычных для начинающего литератора петухов – звучал мощный, спокойный голос мастера.

Обладатель этого голоса – Григорий Служитель, актер Студии театрального искусства. Когда впоследствии я предположил, что это, вероятно, не первый его роман, он ответил, что – первый. Такой вот случай из области театрального искусства. Не знаю, как это возможно.

Впрочем, тут ведь не просто студия – Театр Женовача. Он имеет к литературе особое ухо, ведь бóльшая часть спектаклей Сергея Васильевича – это инсценировки литературных текстов. Не убежден, что завтра этот театр в полном составе войдет в русскую литературу, но то, что автор “Дней Савелия” оттуда, – симптоматично.

Актеры и писатели очень похожи: и те, и другие играют чью-то жизнь. По-разному, но играют. Писатели влезают в шкуру солдата, парикмахера, президента – и на время становятся и тем, и другим, и третьим. В любом создаваемом тексте им приходится исполнять абсолютно все роли. Их игра прекращается с поставленной в тексте точкой. У актеров, напротив, именно в этот момент она начинается.

Писатели – существа малоподвижные, с трескучими непоставленными голосами. Жесты их никудышны. Отдавая себе в этом отчет, они неохотно читают свои тексты в присутствии актеров. Скупыми сценическими средствами (опущенный взгляд, поднятая бровь) актеры доносят до писателей свое мнение об их исполнительских качествах.

Вместе с тем и создание текста актерами – дело не самое распространенное. Актеры знают, что для таких случаев у писателей, несмотря на бедность мимики, всегда найдется выражение светлой грусти. Четкое разграничение сфер деятельности – условие симбиоза писателей и актеров.

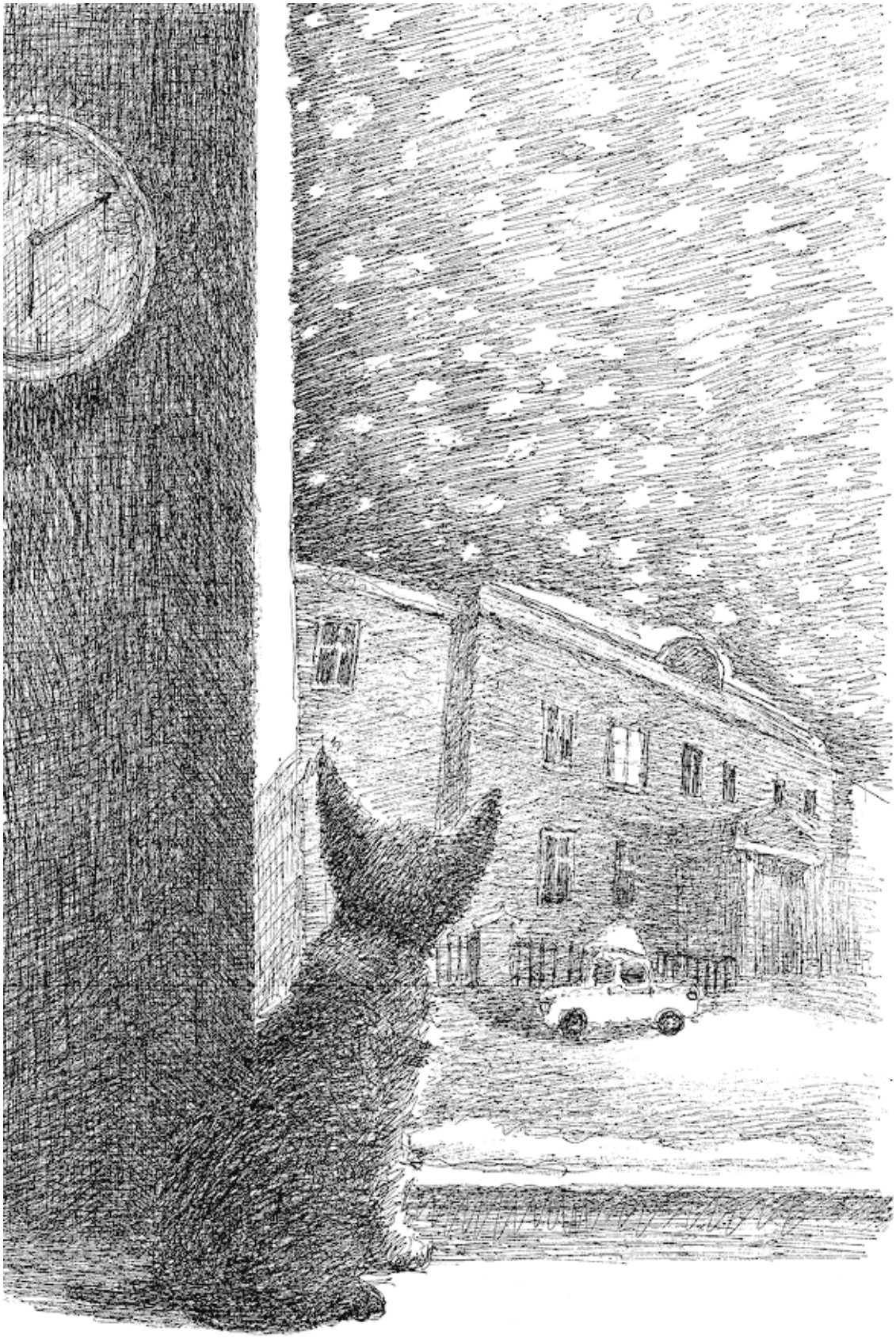
Но бывает так, что талантливый актер и талантливый писатель соединяются в одном лице. И тогда оба дара начинают взаимодействовать, усиливая и взращивая друг друга. Так сложилось у Григория Служителя. Как литературовед, я не оставляю попыток объяснить рождение писателя в полной творческой зрелости. Я мог бы предположить, что произнесение со сцены хороших текстов воспитывает в человеке литературный стиль – независимо от того, пишет он или нет. Но (не как литературовед) думаю, что настоящий дар по большому счету не имеет объяснений.

Коты в литературе – тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал об этих древних и неприкосновенных животных, хотя мысленно и веду их учет. Не стану также говорить о том, что за котами всякий раз просвечивают человеки, и даже не упомяну *остранение* по Шкловскому. Скажу лишь, что герои Служителя – кто бы они ни были, коты или люди – настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она – так уж сложилось – платоническая. Самая высокая из всех любовей.

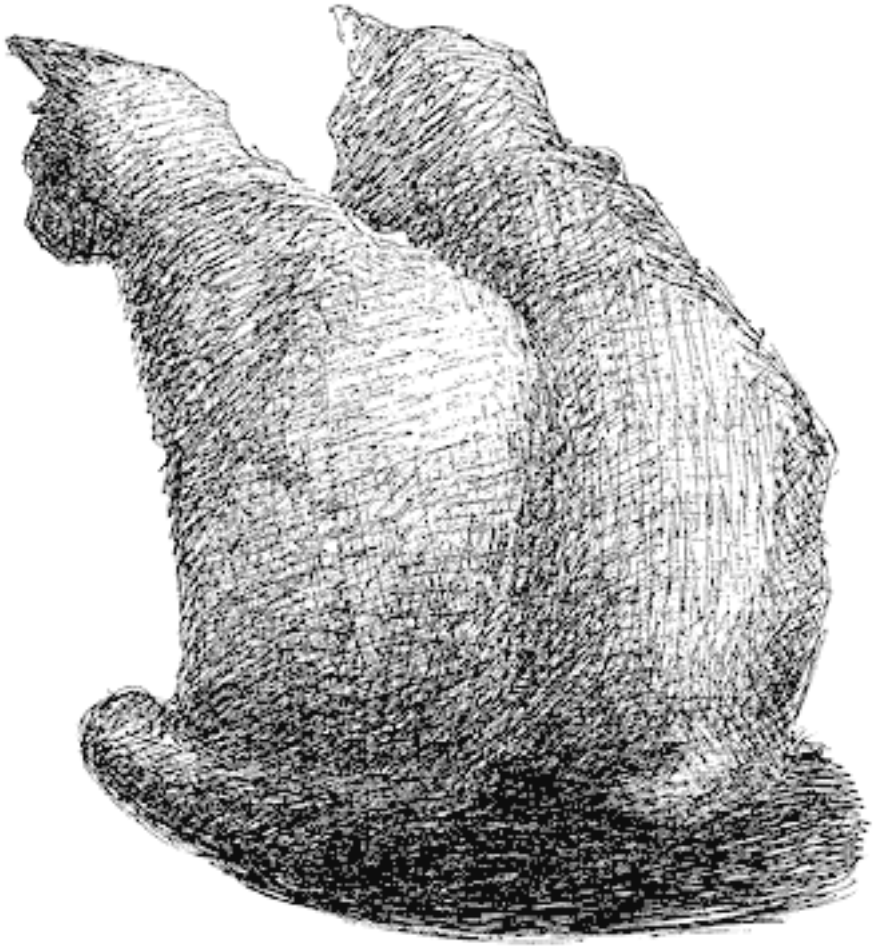
Читая “Дни Савелия”, ловил себя на мысли, что в этом романе автор стал полноценным котом. Занятие для столичного жителя нехарактерное, можно сказать – экзотическое, а вот для писателя – очень важное. Своим романом он доказал, что отныне может перевоплотиться в кого угодно, а мы, сидящие в партере, будем затаив дыхание следить за его превращениями.

Будем плакать и смеяться. И радоваться тому, что в нашей литературе появился такой Савелий.

Ну, и такой Григорий, конечно.



Гермионе, Платону
и всем ушедшим друзьям



Вспомнишь ли наши ясные дни? Вспомнишь ли, как мы ежедневно встречали солнце на Яузе, а провожали его на Большой Полянке?

Вспомнишь ли наши неспешные прогулки вдоль Бауманской?

Вспомнишь ли, как согласно мы помавали хвостами, спускаясь по Басманной?

Улыбнешься ли, как в тот час, когда первый луч падал на золотой купол Никиты Мученика и слепил твой изумрудный глаз?

Вспомнишь Покровку, Солянку, Хохловку?

Господи, где-то оно все?

Где-то оно все?

I. Особняк

Если бы мне снова довелось иметь ребенка, я хотела бы доверить его судьбу этому учреждению.
Запись Клементины Черчилль в "Золотой книге" роддома им. Клары Цеткин

Признаюсь, с самого начала я был отмечен редкой для своих соплеменников особенностью: я узрел божий мир даже раньше, чем в него попал. Точнее, не мир, а те временные апартаменты, которые называются материнской утробой. С чем их сравнить? Это было… это было так, будто находишься внутри теплого пульсирующего апельсина. Сквозь мутные слюдяные стенки я мог разглядеть силуэты своих сестер и брата. И я тогда не был уверен, что они – не я. Потому что *я* никакого еще и не было. А чем было то, что не было даже *мной*, я ответить затрудняюсь.

Откуда-то издалека доносился гул. Недружественный мне гул. Я даже иногда пытался как мог закрыть уши лапами. Точнее, то, чем тогда были мои уши, и тем, чем были лапы. Надо сказать, что лапы тогда мало чем отличались от ушей, а уши мало чем отличались от хвоста. Да и вообще, тогда мало что чем-то от чего-то отличалось. Всё было ровным и теплым. Всё было всем. Чудесное неотличие. Ничто себя не знало и ничто никак не называлось.

Конечно, я не понимал, что расту. Вместо этого я думал, что уменьшается в размерах моя обитель. Я вполне весело проводил время и, если бы мне дали право выбора, скорее всего, предпочел бы остаться. Хотя я сейчас это сказал, а ведь, уже родившись, мне часто казалось, что я так и не покинул родовую оболочку. Как бы то ни было, Ему зачем-то понадобилось, чтобы эту почву топтали еще четыре лапы, чтобы этот мир наблюдала еще одна пара глаз (прозревших, как и было уже сказано, раньше положенного срока), и все это в триллион первый раз пытался привести в мысленный порядок пускай и небольшой, но весьма эффективный клубок кошачьих мозгов.

Кажется, я немного забежал вперед. Позвольте, я опишу обстоятельства, окружавшие первые рассветные недели моей жизни.[1]

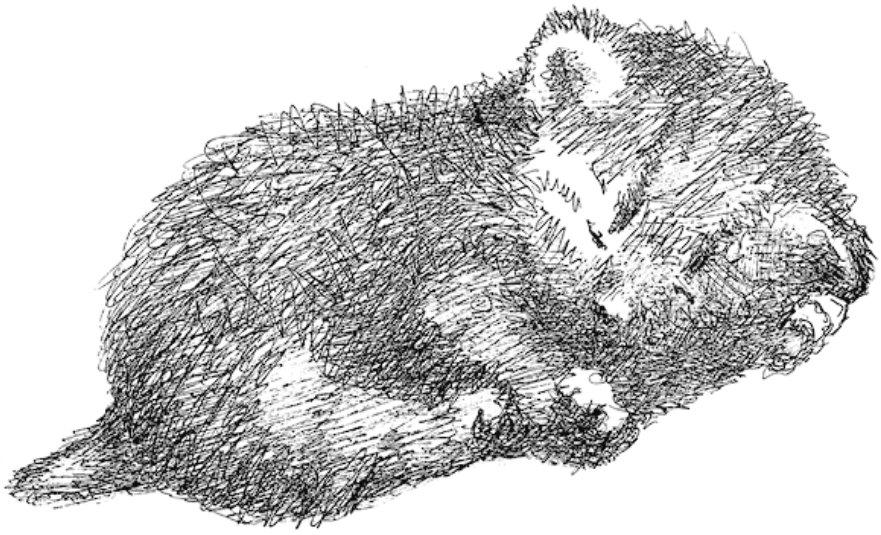
Итак, мамочка разрешилась мной, братиком и еще двумя сестричками в июне. Роды происходили легко и быстро: почувствовав, что "началось", она забралась под накрытый брезентом "запорожец" и приготовилась ждать. "Запорожец" стоял на одном месте долгие годы, и асфальт под колесами просел, а брезентовый колпак кое-где прохудился. У "запорожца" не хватало ни руля, ни сидений, ни фар, ни пепельницы, ни педалей, ни стеклоподъемных ручек, ни иных внутренних органов. Так он и стоял, обглоданный и обобранный, как труп дикого животного в лесу. Где-то был теперь его хозяин? Вот о чем думала моя мамочка, ожидая начала родов. Накрапывал грибной дождик, но прежде чем он перестал, мы уже родились.

Мир не содрогнулся от моего прихода, колокола в небесной выси не загудели. Кстати, о небесной выси. За городом в то лето горели торфяники, и небо было затянуто желтым смогом. Но другого неба я не знал, и потому оно мне казалось прекрасным. И вот из тумана проступили очертания маминой морды.

Мамочка носила красивое имя Глория. Она была совсем молоденькой. Она имела короткий, гладкий мех темно-серого цвета. В синих глазах застыли точки, которые увеличивались и чернели в минуту гнева или опасности. Над правой бровью проходила белая косая линия,

[1] Эта повесть вообще грешит как частыми забеганиями вперед, так и, наоборот, неуместными слезливыми ностальгическими ретроспекциями, в ущерб сюжету и здравому смыслу.

сообщавшая всему ее существу какое-то трагическое выражение. Усы были длинные, не осекшиеся – мамочка всегда умела следить за собой, даже в самые тяжкие времена. Она обнюхала каждого из нас и тщательно облизала. Затем убрала послеродовую субстанцию и по очереди перенесла каждого в приготовленную заранее коробку из-под бананов. Похожие на слипшиеся леденцы монпансье, мы тихо пищали и млели на солнце. О, моя коробка! Моя колыбель, подбитая тополиным пухом, пахнущая подгнившими бананами *Chiquita*. Вместилище детских грез, чаяний, страхов и прочее, и прочее. Пользуясь преимуществом зрения, я опередил других котят – выбрал любимый сосок (левый, во втором ряду) и сразу же к нему припал. Мама мягко отодвинула меня задней лапой и спросила:



– Ты что, меня видишь, сыночек, да? Ты меня видишь?

– Да, мамочка! Не буду врать, я очень хорошо тебя вижу. Можно даже сказать, прекрасно! – ответил я и засосал молоко пуще прежнего. Мамочка задумалась.

– У котов так не бывает.

Я сделал еще глоток, вытер губы о мамин подшерсток и ответил:

– Да, мамочка, ты совершенно права! У котов так не бывает! Мне кажется, природа распорядилась так, чтобы этим частным исключением лишний раз подтвердить общее для всех котов правило!

– Ты уверен, сыночек?

– Нет, мамочка, совсем не уверен.

Насытившись, я прилег на бок и задумался. Негоже коту, пускай и возрастом всего лишь в несколько часов, ходить без имени.

– Мамочка, как меня зовут?

Она подумала и сказала, что меня зовут Савелий. Почему она назвала меня Савелием? Не знаю. Наверное, в честь своего любимого трехпроцентного творога “Саввушка”, которым она питалась на протяжении всей беременности. Этот творог выносила на задворки магазина “АБК” кассирша Зина, и мама говорила, что это спасло нас от голодной смерти. В знак благодарности котолюбивой женщине она назвала одну мою сестренку Зиной, а другой сестренке дала имя АБК. А вот брата не успели никак назвать, потому что… В общем-то, он даже не успел понять, что родился. И возможно, с его точки зрения (если бы она у него была) это и хорошо.

Потому что, когда вы еще настолько близки к одному краю небытия, другой его край не так уж сильно пугает. Ведь страх – это предчувствие утраты, а если у тебя еще ничего нет, то и бояться нечего. Думаю, и мама это понимала, и поэтому смерть сына не стала для нее трагедией. Она обратилась к похоронной бригаде кротов, и те предали брата земле в саду у большого тополя. Котовий век недолог. Судьба всегда чешет нас против шерсти.

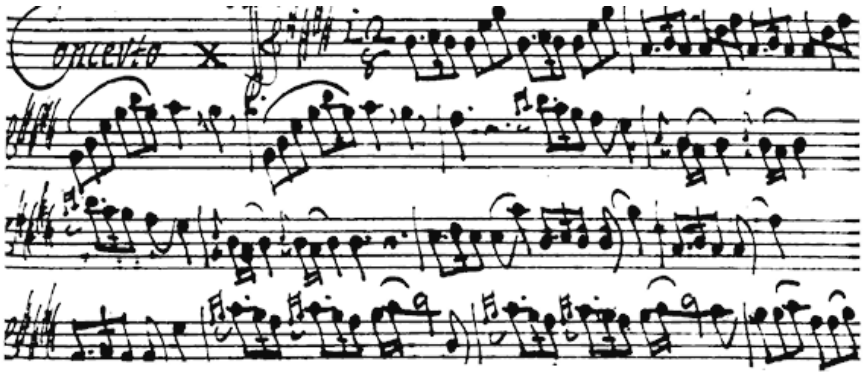
Жизнь началась в старом купеческом районе Таганки, в Шелапутинском переулке, на высоком берегу Яузы. Наша коробка примостилась у старого особняка Морозовых. Да, мой знаменитый тезка – негоциант, театрал и самоубийца – отпрыск именно этого рода. Здание девятнадцатого века к началу нового тысячелетия совсем обветшало и обрюзгло. На фасаде болталась рваная строительная сетка, окна чернели копотью отбушевавших пожаров. Чердак облюбовала пара грачей. Круглое окошко на фронтоне бережно поддерживали по бокам два пухлейших купидона, и грачи, высунув наружу свои клювы, выглядели совсем как фамильный медальон. По уцелевшему кое-где рельефу неслась вприпрыжку стая нимф. За нимфами гнались и никак не могли их нагнать два разнузданных сатира. Голова и свирель у одного из сатиров давно отвалились, а одна нимфа потеряла на бегу ступню и колено. Веселый сюжет рельефа несколько контрастировал с назначением постройки: при Морозовых – богадельня для всех сословий, при советской власти – родильный дом имени Клары Цеткин. Особняк окружала пузатая чугунная ограда, и дубы протягивали свои ветви сквозь прутья, словно голодные заключенные за миской баланды.

Особняк хранил много историй. Например, кроты рассказывали, что в восьмидесятые заброшенное здание стал посещать молодой студент Суриковского училища, некто Белаквин (училище находилось совсем неподалеку, в Товарищеском переулке). Студент расставлял сопутствующие своему ремеслу причиндалы: треногу, мольберт, палитру – и полдня переводил свои впечатления от живописных руин на холст. Трудно сказать, насколько успешно складывалась его карьера рисовальщика, но только к концу нулевых он, уже пожилой, полный, со всклокоченной бородой мужчина, почему-то решил избрать развалины роддома местом своего постоянного проживания. Что-то его сюда влекло. Тянуло. Что именно? С годами я понял: рано или поздно мы становимся похожи на то, что любим.

Так очарованный увяданием молодой художник решил превратить в руины и собственную жизнь. Кроты добавляли, что где-то в особняке он обрел свой вечный покой. Впрочем, никто его праха не видел, поэтому кротам не удалось его похоронить.

Итак, ларчик открылся. И теперь наступила счастливая пора первоначального накопления. Камешки, травинки, спички, обрывки света и нот, сны и предсонья, пыль, пух, огни и темноты. Все это бережно собиралось, укладывалось и оседало на илистом дне моего сознания, чтобы обналичить меня, обозначить меня, утвердить меня. Моя никчемная казна, призрачное богатство. И какое мне дело, что со временем от надежд останутся только догорающие костры на холмах. Но это все потом, потом.

А сейчас… Да, сейчас мир принял меня благосклонно, и как бы в подтверждение этого мойщицы окон широкими размашистыми движениями приветствовали мой приход. С балкона дома напротив доносился музыкальный мотив. Точнее, *allegro* из концерта *L'amoroso* Антонио Вивальди. Обитатель четвертого этажа, вдовец и мизантроп Денис Алексеевич, слушал этот концерт с утра до вечера. Мне кажется, он был невысокого мнения о мире, в котором ему довелось оказаться шестьдесят четыре года назад. Да, он не давал нашей Земле ни единого шанса. Но он любил музыку. Он установил старый проигрыватель "Вега-117" на балконе, а колонки развернул на улицу. Звуки музыки оглашали округу и, по справедливому мнению Дениса Алексеевича, хоть как-то облагораживали безнадежные души шелапутинцев. То был поистине гимн моего младенчества! Да что это я! Вот, послушайте сами. Чуть-чуть, самое начало:



Прекрасно, да? Как я любил эту музыку! Я выстроил свою жизнь сообразно пропорциям *L'amoroso*. Во время обеда я попеременно нажимал правой и левой лапой на мамину грудь в темпе *allegro*: молоко поступало в меня то протяжными долгими *legato*, а то короткими порциями *staccato*. В урочные часы я кружился за собственным хвостом в темпе концерта. Я перепрыгивал трещинки в асфальте, стараясь приземлиться на сильные доли! Окрепнув, я научился сам подбираться под окна Дениса Алексеевича, чтобы лучше слышать звуки музыки, и тогда мне казалось, что даже голуби расселись на проводах в порядке нот из моего любимого опуса.

Маме не нравились мои отлучки. Хотя общественный транспорт почтительно обходил наш переулок стороной, а машины проезжали редко, но тем опаснее было их внезапное появление. Мама подбегала ко мне, хватала за шкирку и волокла назад в коробку. Пока она несла меня, я раскачивался в воздухе: синь небес – зелень трав, синь небес – зелень трав. Кувырок – дно коробки.

Я скоро научился превращать наказание в развлечение. Оказавшись в коробке в очередной раз, я плотно закрыл верхние створки, проделал в стенках множество отверстий и сел наблюдать за внешним миром. Солнечные лучи насквозь простреливали мою темную обитель с четырех сторон. Я получал невыразимое удовольствие от того, что был и не был одновременно. Из углов тянуло банановой прохладой. Я подставлял морду под горячие лучи и чихал. Через дырки я видел, как сестры мирно пасутся на лужайке; как подростки поджигают борозду пуха вдоль тротуара. Деятельный мир радовал, успокаивал и обещал принять меня на моих же условиях. Я думал, не есть ли эта радость к жизни как бы предварительный аванс, обещание последующей награды? Или наказания? Что по сути одно и то же, когда на кону вопрос: а будет ли вообще хоть что-то, будет ли это *grand après*[2], или его так-таки не будет? А уж какое оно там, велика ли разница?

– Савва! Коты – хрупкие, беззащитные существа, – говорила мне мама. – Когти и клыки дают нам преимущество только перед теми, кто слабее нас. Перед механизированным транспортом мы ничто. Не искушай судьбу. Никаких девяти жизней у тебя нет! Не считай, сколько из них ты успел израсходовать. Савва, будь смел, но осторожен и рассудителен!

– Дорогая мамочка! Я хотел бы еще добавить, что жизнь не просто одна, но даже какая ни есть, она с каждым днем все убывает и убывает, как вода в дырявом корыте. Ведь мы не начинаем нашу жизнь каждый день. Мы продолжаем звучать, послушные чьему-то нажатию клавиши. А потом медленно затихаем. Сколько продлится моя фермата? Сколько? – обращал я вопрос в пустоту, так как мама скрылась и меня уже никто не слышал…

[2] Великое после (*фр.*).

Ах, эти многоточия. Благословенны времена, когда многоточиями сочинители прошлого усеивали страницы своих повестей, так что читатель недоумевал, ошибка ли это набора, цензура, или автор просто забыл, что хотел сказать.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

И вот по ночам, после изнурительных физических занятий и умственных упражнений, прижимаясь в моей колыбели к маминому животу и покусывая сестрин хвост, я думал: “Какое счастье иметь семью, пускай и неполноценную (вопрос отцовства у нас, как и в большинстве кошачьих семейств, разумеется, никогда не поднимался). Иметь мамочку и двух глупых, но любимых сестричек. Иметь свой кров, пускай и с протекающей дранкой. Иметь стены, пускай и картонные, но свои! Стены, пропахшие гнилыми бананами *Chiquita*. Простую миску творога. Плошку проточной воды. А скольким повезло гораздо меньше нашего!”

И тогда я думал о тех, кто поддерживал наши хрупкие жизни. Кто нас кормил, поил, кто за нами ухаживал. Ведь подобно отсвету давно потухшей звезды, разбитый особняк все-таки продолжал исполнять функции роддома/богадельни. Мы, например, как-никак, а родились именно здесь, и за нами совершал свой уход немногочисленный, но заботливый штат сотрудников.

Например, дворник Абдуллох, гражданин республики Таджикистан, уроженец села Парчасой, где на его иждивении оставалась семья из десяти человек, восемь из которых приходились ему детьми, одна супругой и одна – бабушкой. Он был приписан муниципалитетом к территории особняка. Каждое утро Абдуллох выходил на работу гладко выбритый, садился на приступку позади роддома и играл сам с собою в кости. Иногда он брался за метлу. Мерными взмахами счищал с дорожек пух, листья, дохлых жуков, а также первоцветы и соринки неизвестного происхождения. Все это поднималось в воздух и летало, летало.

Вскоре Абдуллох заметил нашу коробку. Он заглянул внутрь и сказал: “Ай, какие маленькие и весьма хорошие коты!” Потом сходил в “АБК” и вернулся с бутылкой воды и большой пачкой котячьего корма. Он вывалил желе на газету, и я тут же принялся за еду, одновременно уясняя себе политическую обстановку в стране и мировые цены на углеводороды. Потом я лег отдохнуть в кусты. Дворник почесывал пальцем мой живот, а я так называемым периферийным зрением ловил малейшее колыхание резеды, боярышника, поспевающей вишни и орешника.[3]

Наш сад был удивительно толерантен к самым разным видам флоры: бересклет счастливо уживался с лабазником, недотрога обыкновенная не причиняла никакого вреда шиповнику и, вы не поверите, ирга мирно делила почву с лапкой двудомной. Плотным кольцом вокруг сада росла крапива. Абдуллох неспешно организовывал пожухлую листву в небольшие кучки. Когда на щеках Абдуллоха намечалась тень щетины, это означало, что его рабочий день подходил к концу. Он складывал кости в бархатный мешочек и удалялся прочь. Через его плечо была живописно перекинута метла, а свободной рукой он бил в невидимый бубен в ритм какой-то только ему слышной мелодии. Абдуллох исправно кормил нас каждое утро в восемь часов утра.

Но он был не единственным, кто оказывал посильную помощь нашей семье. Около полудня, услышав оклик, мы бросали игры, собирались возле мамочки и следовали за ней через дорогу, на угол дома 45, строение 2. Вскоре из-за поворота появлялся Митя Пляскин, котолюб и расклейщик рекламы милостью Божией. Длинные ноги его помещались в кроссовки о трех липучках. На преждевременно облысевшей голове была тряпичная кепка с пластиковым

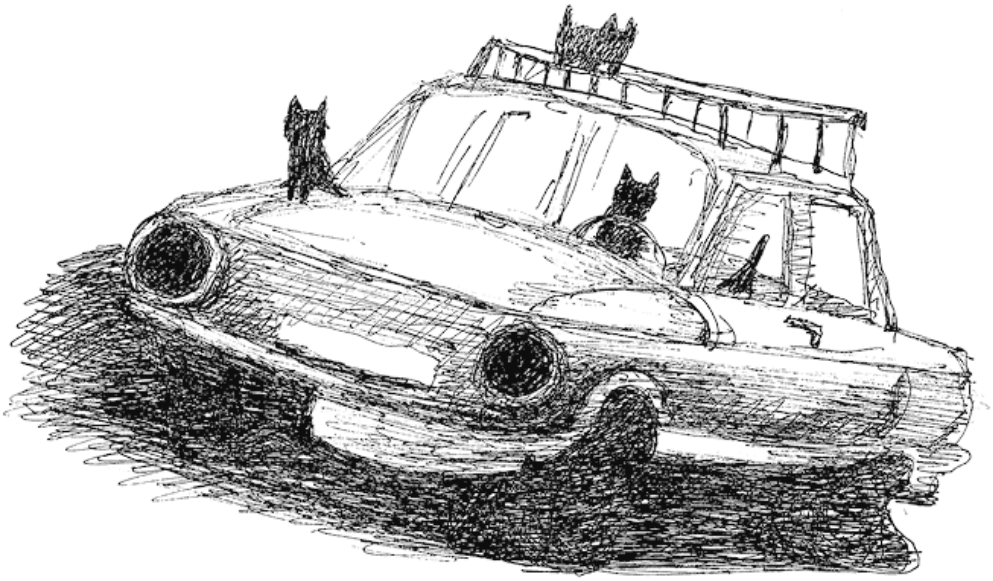
[3] Да, вишня у нас поспевала на пару месяцев раньше, чем в других районах Москвы.

козырьком, поднятым вверх, на носу – большие старомодные очки с изогнутыми дужками. Он носил серые брюки клеш, вязаный жилет, а под ним – неизменную желтую рубашку. Через плечо Мити был протянут ремешок, сбоку на нем болталась старая кожаная портупея. Митины ладони всегда были молитвенно сомкнуты на груди, пальцы касались друг друга, как будто Митя обдумывал коварный план, рот приоткрыт, а взгляд выражал чувство легкого удивления.

Митя расклеивал на столбах и стенах объявления о сдаче, найме, съеме и продаже. Способ расклейки объявлений заслуживает особого упоминания. Сначала Митя долго примерял на глаз будущий участок работы: так и эдак наклонял голову, складывал пальцы в рамку. Затем наступала практическая фаза. Митя тщательно проходил шпателем по поверхности, счищая с нее ошметки старой рекламы, и уже тогда только наносил клей буквой Х и, аккуратно помогая себе валиком, наклеивал листок. Ни единого пузыря, ни единой складки. И последнее: ножницами, в строгом соответствии с пунктирными линиями, Митя надрезал объявления снизу. Потом они еще долго трепетали на ветру бахромой телефонных номеров. Трепетали, пока не превращались в те же самые ошметки, которые Митя аккуратно счищал, чтобы наклеить на их место новое объявление. Но квартиры в нашем районе почему-то не пользовались особенной популярностью, поэтому труд Мити был до некоторой степени бессмысленным.

“Котики мои маленькие! Котики!” – радостно восклицал Митя и постукивал запястьем о запястье. Он поднимал по очереди в воздух каждого члена семьи, включая мамочку, троекратно целовал нас в усы и гладил область лба. Потом сочувственно прижимал к щеке ладонь лодочкой и говорил: “Вы же голодные!” Мы громко соглашались с Митей. Тогда он, размахивая руками, спешил в “АБК”. Стеклянная дверь еще продолжала раскачиваться, а он уже выбегал обратно, неся в руках трехпроцентный творог “Саввушка” и пакетик с желе для котят.

И конечно, надо еще раз упомянуть о кассирше Зине. Помимо провианта, которым она снабжала мамочку в пору ее беременности и в первые, наитруднейшие месяцы нашей жизни, это именно она преподнесла нам в дар коробку из-под бананов *Chiquita*. Безвозмездно. Сходила на склад и принесла пустую коробку. И это несмотря на то, как тяжело сейчас с недвижимостью в Москве. Если бы вы знали, как тяжело.



Вот они – три наших главных благодетеля!

Обед (как и завтрак, и полдник, и ужин) проходил в узком семейном кругу. За столом мы делились впечатлениями дня, обсуждали планы на сегодняшний вечер, на завтрашнее утро:

куда совершить прогулку, где встретить закат. Но что бы мы ни решили про любой другой день недели, каждое воскресенье мы отправлялись в район Сыромятнического шлюза, где проживала мамина сестра, а наша тетя Мадлен. Накануне вечером я специально ложился спать рано, чтобы поскорее наступило заветное утро. Как только мама облизывала мой лоб, я сразу засыпал, полный таинственной неги и трепета перед завтрашней прогулкой. Я очень любил тетю Мадлен. И, признаюсь, еще больше, чем тетю, я любил наше путешествие к ней.

Ранним утром, когда туман еще стелился в низине за особняком, когда в воздухе еще стоял густой звон колоколов Мартина Исповедника, мы уже выбирались из дому. Погонявшись за хвостом в ту, а потом в другую сторону, мы оставляли физические упражнения и шли завтракать. Затем, посидев и помолчав минутку, выступали в путь.

Во главе отряда бодрым аллюром шла мамочка, затем ковыляла сонная АБК, ее подгоняла Зина, а замыкал процессию я. Дорога в сторону шлюза, с остановками на отдых, занимала около часа. Кратчайший путь лежал через склон сразу за особняком, но мамочка справедливо рассудила, что дети могут поскользнуться на листве и кубарем выкатиться на проезжую часть, и потому решила идти в обход.

Мы прошли мимо подвала, в котором расположилась ремонтная мастерская “У дяди Коли”. На вывеске было изображено надкусанное яблоко и рука, пришивающая к нему недостающий кусочек. Над яблоком вилась лента с живописно прорисованными изгибами и двуязыкими концами. Лента гласила: “Ваша поломка – наша проблема!” Но проблем у сервиса, к сожалению, было немного. То ли шелапутинцы были особенно бережливы, то ли просто предпочитали живое общение, но телефоны у них почти никогда не ломались. Дела мастерской шли неважно: сквозь веерообразную решетку мы могли днем и вечером наблюдать, как хозяин мастерской, дядя Коля, раскладывает на компьютере пасьянс “Косынка”. На стене висел выцветший календарь с изображением Николая Угодника. Чем святой мог угодить своему тезке? Наверное, тем, чтобы гаджеты местных жителей выходили из строя как можно чаще, экраны трескались, шнуры перетирались и аккумуляторы иссякали.

На Николоямской прихожане разбредались по службам в храмы святителя Алексия, преподобного Сергия Радонежского и Мартина Исповедника. Местные жители отличались благочестием, и потому для их духовных нужд на маленьком пятачке в один квадратный километр выстроили целых три собора.

По троллейбусным проводам уже пробегали первые разряды тока; весело блестела на солнце лысина одноногого нищего Гоши, который ковылял на костылях к паперти Сергия Радонежского то ли молить Бога вернуть ему левую ногу, то ли хотя бы сохранить правую. Не спеша и чинно в сопровождении племянника ехала в инвалидном кресле к месту еженедельной проповеди Глафира Егоровна. Несмотря на летний сезон, голова ее была обмотана в теплый байковый платок, а ноги обуты в войлочные боты “прощай, молодость”. Благостно сложив руки на животе и улыбаясь, она откинула голову набок и как будто уснула. На самом же деле она повторяла про себя тезисы будущей речи. Каждое воскресное утро племянник подвозил ее к Мартину Исповеднику и оставлял на стрелке, где сходятся улицы Солженицына и Станиславского, прямо напротив церкви. Там Глафира Егоровна в течение нескольких часов делилась с прохожими соображениями по поводу малодушия и бесхарактерности Адама, уступившего капризам Евы; анализировала ситуацию Ионы, вынужденного провести три дня и три ночи во чреве кита; тосковала вместе с ним и радовалась счастливому спасению; поощряла раскаяние блудного сына, во весь голос осуждала предательство Петра, и так далее и тому подобное.

Мы тем временем миновали старую каланчу, верхушку которой венчало множество разноцветных воздушных шариков. Надо объяснить, как они туда попали. Дело в том, что в условиях мировой рецессии местные банки, магазины или салоны красоты возникали быстро и исчезали стремительно. Например, вместо магазина появлялась новая аптека. Разумеется, церемония открытия не обходилась без торжественного запуска воздушных шариков. Под

аплодисменты и свист шелапутинцев ввысь взмывала, положим, бело-синяя гроздь. Но ветром ее тут же относило к каланче: шарики цеплялись за верхушку, путались и оседали. Через пару месяцев вместо прогоревшей аптеки открывался тату-салон. К каланче присоединялась уже красно-черная группа. Потом желто-зеленая, фиолетовая и так далее, пока каланча издалека не становилась похожа на радужную шевелюру клоуна. Да, погода в здешних местах была ветреной, а экономическая ситуация в стране – нестабильной.

Мы прошли дом купцов Вишняковых. С недавних пор в нем открыли пункт помощи бездомным, которые теперь в большом количестве толпились у подъезда, ожидая начала раздачи еды. Часто перепадало и нам. Если местные собаки не успевали все сожрать, то мы (как сейчас) с удовольствием расправлялись с бараньим хрящиком или остатками похлебки из моркови и капусты. И это был так называемый второй, легкий завтрак.

На Андроньевской площади встречные автомобили салютовали нам, бибикали и с ревом тормозили, чертя шинами изящные завитки. Усвоив от мамочки первые уроки этикета, мы, конечно, кланялись им в ответ и учтиво улыбались. Но особенно нас восхитил трамвай № 20. Мамочка ушла чуть вперед, а мы задержались на рельсах, очарованные его старомодным шармом. Дребезжащий и медлительный, с нелепой трапецией на крыше, сыплющий на мостовую искрами, он со скрежетом остановился, навис над нами своими усами-решеткой и тяжело переводил дыхание. Он дал полюбоваться собой, а потом что было мочи загудел и отчаянно забил в звонок. Мы завизжали и понеслись к маме. И, конечно, тут же были отруганы и биты.

Особняк Морозовых давно исчез из виду. Опустевшая коробка из-под бананов осталась где-то там позади. В первый раз я отошел от дома так далеко. Справа высился Андроников монастырь, внизу плескалась Яуза, слева из утреннего тумана на Москву наступало нестройное сообщество высоток Сити. Тугоплавкие и огнестойкие, башни переливались змеиной чешуей, закручивались в спираль ДНК, устремлялись в небо исполинскими тюбиками. Было в них что-то чудовищное. Чудовищное, тревожное и страшное. Что-то такое, что вызывало ужас, но от чего невозможно было оторвать глаз, как от стихии.

У парапета набережной стоял какой-то господин. Он был в плаще и шляпе, на запястье у него висела палка. Он бросал в реку хлебные крошки, а утки, громко ругаясь и отпихивая друг друга, их ловили. Господин кормил птиц и приговаривал гнусавым голосом какие-то стихи. Кажется, “И долго буду тем любезен я народу…” По мосту прогромыхала электричка. Замелькали темные силуэты дачников, гастарбайтеров, милиционеров, пенсионеров и простых подмосквичей, мучимых похмельем и нестерпимой торфяной гарью. Пассажиры уткнулись в мобильные телефоны и играли в змейку, тетрис, мини-покер, припоминали количество выпитого накануне, улыбались, повторяя шутки из вчерашнего “Урганта”, прикидывали, позволят ли осенью их скудные накопления отправиться куда-нибудь с семьей. Затиснутый между мамой и бабушкой, на скамейке сидел Витюша Пасечник и грустно смотрел в окно, мечтая о своей возлюбленной одноклассницe Юле. Витюше предстоит сыграть в моей судьбе свою роль.

Электричка промчалась вон из Москвы, вослед ей уносился разнокалиберный лай. Это голосили собаки, вышедшие на утренний променад. Справа налево и слева направо летели пластиковые тарелки, мячики, прочие снаряды, и за ними гонялись как ненормальные местные бигли, корги и овчарки.

Мы прошли по мосткам через ручей Золотой рожок, и в сердце моем, как всегда, играл *L’amoroso*. Вот она – Яуза. Тихая вода. Хилое течение. Скудный приток. Сонная артерия. Изнанка. Тень. Что ты прячешь на своем дне? Какие декреты и рескрипты хранишь? Где полки, чьи трухлявые знамена увязли в твоем иле? Литавры ржавеют в твоих песках. Гул былых побед пробегает рябью по темным волнам. Старые забытые мотивы путаются в водорослях. Ветер играет на расстроенных клавикордах. Отжившие анекдоты блуждают среди рыб и уже давно никого не смешат. Невзрачная река. Слабая, бесплодная Яуза. Дряхлая няня, которую держат из жалости. Бобровый скит. Утиная заводь. Какие нивы ты орошаешь? Какие луга питаешь?

Долгими ночами бормочешь про себя тюркские предания, считаешь по-немецки барыш от продажи овса или напеваешь шамкающим ртом песенки офеней-горемык. Милая моя река. Всешутейшая, всепьянейшая. Как полоумная старуха, ни за что не вспомнишь, что ела на завтрак, но расскажешь с удовольствием в тысячный раз байку про соколиные выезды Алексея Михалыча или изобразишь в лицах, как Бирон в шлафроке нараспашку маршировал пьяный впереди военного оркестра. Никогда, никогда лед не сковывает твои потоки. Морозными зимними днями ты так же бесстрастно воспринимаешь снег, как осенью отжившую листву и теплые дожди весной. С тем же гостеприимством тянешь на дно и хлебные крошки, и черный джип, не вписавшийся в поворот у Костомаровской излучины. И надо всем этим стоит легкий серый пар – эхо окриков, брани, приказов, шуток, песен, предсмертных воплей и любовных стонов. И одинаково равнодушно, как когда-то отражала бастионы Прешбурга, сегодня ты отражаешь сумрачный фасад института Баумана.

Мы уже издалека заметили уши тети Мадлен. Она забралась встречать нас на высокий парапет и сидела так, пока мы не приблизились. Тогда она спрыгнула к нам и принялась обниматься и облизываться с мамочкой. С верхнего бьефа плотины вода падала с грандиозным шумом, обдавала нас с сестрами брызгами, щекотала пылью, и скоро мы стали совсем мокрые. Мы играли, пытаясь укусить тут и там возникавшую радугу, и иногда это нам удавалось.

Апартаменты тети Мадлен представляли собой стиральную машину фирмы *Ariston* с фронтальным типом загрузки. Круглый иллюминатор освещал ее просторную комнату, а крыша из легкового пластика надежно защищала от непогоды. Смотритель шлюза, который опекал тетю, извлек из машины барабан, чем значительно расширил тетину жилплощадь. В летние месяцы прохладные чертоги *Ariston'a* спасали от жары, но вот зимой, когда становилось слишком холодно, тетя Мадлен уходила жить в помещение. Тетя отличалась мягким нравом и приятными манерами. Ей был открыт доступ во все уголки здания: в подвал, на кухню, в спальню смотрителя, на крышу и даже в рубку управления шлюзом.

Сперва, чтобы нагулять аппетит, тетя Мадлен предложила нам небольшую экскурсию. Аппетит и так был вполне нагулян, но мы не могли отказаться. Мы прошлись по дому смотрителя, по карнизам, вдоль балюстрады с пузатыми кеглями-балясинами, между статуй, изображавших героев соцтруда. Перешли по металлическому мостику через плотину, еще раз послушали шум водопада и наконец спустились вниз. Тетя Мадлен заранее приготовила небольшой пикник. Ржаные горбухи, остатки тунца в консервной банке, немного сухого корма из кролика и, конечно же, трехпроцентный творог "Саввушка", без которого в то время не обходился ни один кошачий стол. В качестве десерта тетя Мадлен подбросила шнурки из кроссовок смотрителя шлюза. Было очень вкусно.

Из обрывков разговора мамы и тети я понял, что судьба разлучила сестер около года назад. Всей семьей (бабушка, мама, тетя Мадлен и дядя Шарль) они проживали на берегу Золотого рожка. Но мама влюбилась, убежала из дома со своим избранником и стала жить в Шелапутинском. Потом мой дядя ушел искать счастья на запад, а бабушка чем-то заболела и умерла. Тетю Мадлен нашел смотритель шлюза Вячеслав и забрал жить к себе.

В бытовом плане дела тети Мадлен обстояли как нельзя лучше. Четырехразовое питание, фешенебельные апартаменты, волшебный вид на реку и парк, но личная жизнь не складывалась. Смотритель решил кастрировать тетю. С тех пор она потолстела и выглядела гораздо старше мамы, хотя родилась на три минуты раньше. Они с мамочкой, да и все в семье, были чрезвычайно похожи, так что я даже мог довообразить портрет нашего дяди и, думаю, не сильно ошибся бы, встретив его наяву. Правда, усы тети уже оставляли желать лучшего, и, в отличие от мамы, над бровью у нее не проходила белая полоска. Мама жила в естественном ритме кошки: не ускоряя, но и не замедляя времени. Забота о детях не оставляла ей возможности думать о себе, но это же и освобождало голову от вредных мыслей, вызывающих преж-

девременное старение. А вот праздность и излишек досуга сделали тетю Мадлен не в меру меланхоличной и нерешительной. Она давно забыла, что значит голод и холод. Она не добывала хлеба в поте лица своего – а ведь многие могли только мечтать о такой жизни. Но и перед домашними кошками у нее было ощутимое преимущество: Вячеслав не ограничивал ее передвижений, она гуляла, где хочет и когда хочет. Даже имя Фрося, которое смотритель дал тете, она переносила спокойно. “Бывает хуже. Фрося так Фрося”. Короче, круглые сутки ей нечего было делать. Она маялась от скуки. Комфорт притуплял ее воображение.

Подростковые ссоры, мелочные скандалы и драки остались далеко позади. Теперь тетя Мадлен с мамочкой вступали в ту пору, когда общие воспоминания о детстве, о потерянном навсегда доме, об ушедшей матери и брате как магнитом притягивали их друг к другу; память требовала выговариваться, уточнять, делиться, признаваться. То, что так долго скрывалось, таилось в темных углах души, теперь выметалось на свет. Сестры откровенно признавались друг другу во всем. Время не индексирует детские эмоции. Обида прошлого не становится меньше с годами, а радость светит из детства так же ярко. Все вызволялось на свободу и, следовательно, проживалось заново. Оказалось, что запрятанную у гаража голову воблы похитил все-таки не брат Шарль, а Глория; что какой-то розыгрыш со стелькой устроил как раз Шарль, а не Мадлен; тетя рассказала, что перед самой смертью бабушка ей призналась, что, когда дети были еще слепые, она уронила в ручей их младшую сестру и всю оставшуюся жизнь мучилась и терзалась из-за этого.

Наконец наступил день, когда выговаривать уже стало нечего. Но переполненные нежностью друг к другу и к тому неопределенному, что их связывало, сестры стали повторять уже раз проговоренное, добавляя от себя какие-то новые штрихи и детали.

Я слушал рассказы из жизни бабушки, тети, дяди и мамочки и думал. Удивительно все-таки устроила природа. Мое присутствие на земле было еще таким недолгим. Биография моя только начинала писаться. Окажись я вдруг на пресс-конференции, возьми у меня сейчас кто-нибудь интервью, что бы я им сказал? Я бы смутил репортеров молчанием. Рассказать о себе было бы совсем нечего. Но все те истории, что имели место быть задолго до моего рождения, уже становились как бы частью моего времени. Ведь порой бывает труднее описать собственную жизнь, чем события, предшествовавшие нашему рождению. То, чему я не мог быть свидетелем, но услышанное с чужих слов, иногда кажется куда более реальным, чем факты своей же биографии; в глубине души мы едва полагаемся на собственные чувства и память, но охотнее доверяем чужим.

Ружье висит на стене. Стреляет оно, конечно, не во втором акте, а еще до начала первого; стреляет еще до того, как первый зритель войдет в зал. И все представление публике остается разве что слушать долгое-долгое эхо выстрела, который они не застали.

Мамочка и тетя Мадлен то и дело упоминали имя некоего Момуса. Насколько я мог понять, это был не самый порядочный кот в мире. Сестры обличали его как могли. Само его имя они произносили с отвращением. Кое-как, размытыми тропками и неясными стезями, суммируя приметы и вслушиваясь в полутона, я вдруг пришел к выводу: “Уж не есть ли этот загадочный Момус… мой отец?” Как странно. Судя по всему, это так. Во мне все затрезвонило и загудело, совсем как давешний трамвай. Точно, это мой отец. И должно быть, он успел погулять не только с мамочкой, но и с тетей и наверняка еще Бог знает с кем. Так что, может статься, добрая половина котят в округе приходятся мне родственниками. И имя у него какое-то – Момус. Я посмотрел на АБК и Зину – они залезли в стиральную машину и кусали разноцветные провода, обильно произраставшие на месте бывшего барабана. Я уж было открыл пасть, чтобы крикнуть “Я знаю, кто наш папа!”, но вовремя осекся. Это не имело смысла. Имя – не заклятие. От частого его повторения Момус к нам не вернется. Да и зачем? Нужно ли? Вернись он к нам сейчас – с чего бы ему вдруг обрести качества порядочного кота после столь дли-

тельной разлуки? Однажды решив, что доставляет нам наибольшее удовольствие, мы уже не в силах сойти с выбранной дороги (позже я понял, что страдание по силе привязанности к нему ничем не уступает удовольствию (а часто его и превосходит, замечу в двойных скобках)).

…Пришло время прощаться. Должно быть, делали мы это довольно громко, потому что к нам подошла молодая пара с коляской. Юноша с бородкой и усиками, заостренными кверху, снимал нас на телефон, а девушка в очках в толстой оправе достала из коляски младенца и присела рядом. Младенец неопределенного рода был одет в комбинезончик с кошачьим полосатым хвостиком и кошачьими же ушками на капюшоне. Ему было весьма радостно разглядывать живые прототипы своего наряда. В подтверждение этого он запустил в нас погремушкой. Девушка подняла погремушку и сказала с преувеличенной родительской строгостью: “Сонечка, котики хорошие! Нельзя котиков обижать!” Сонечка улыбалась и делала ручкой, как будто хотела потрогать нас. Я принял приглашение и подошел к девочке близко-близко. Мама поставила ее на ножки, и девочка потянулась ко мне. Папа сказал что-то про помойку и лишай, но Соня уже гладила меня своей ладошкой, неумело и неловко шевеля пальцами, как делают только маленькие люди. Она смотрела в мои глаза, а я смотрел в ее. Они были невероятно голубые. Эти глаза казались щелками в какую-то запредельную потустороннюю голубизну, которой девочка наполнена изнутри. Она провела ладошкой по моим усам, но мама взяла ее подмышки, и Соня, громко плача и протягивая ко мне ручки, стала от меня удаляться и скрылась в коляске.

Хотя и Митя Пляскин, и Абдуллох, и продавщица Зина не раз брали меня на руки, я только сейчас, через это прикосновение с маленькой детской рукой даже не почувствовал, а как бы предувидел, каким он может быть там, в будущем, этот странный договор между котом и человеком. Когда ты как будто перестаешь принадлежать сам себе; когда отдаешь свою волю этому странному существу. Когда потребность человека в заботе пересекается с необходимостью кота выжить. Когда ты в конце концов решаешь ему довериться, а он, как я слышал, наделяет тебя какими-то мистическими свойствами, способностью врачевать, видеть злых духов в доме. Когда хозяин наслаждается собственной заботой, кормит и поит кота, а кот, испытывая безграничную благодарность, отвечает взаимностью – и изо всех сил не делает ничего. Лишь спит, урчит и вяло покатывает из стороны в сторону шерстяной клубок. Случится ли такое в моей жизни?

Мы построились в колонну и выдвинулись в Шелапутинский. Я снова шел последним. Я то и дело оборачивался назад. Фигура тети Мадлен на парапете все уменьшалась, пока совершенно не исчезла из виду. Блики играли на исподней стороне Таможенного мостика. Под стенами Андроникова монастыря на склоне трудилась бригада гастарбайтеров в оранжевых безрукавках. Среди них был Абдуллох. Он указал на нас черенком граблей и что-то сказал на своем языке. Все засмеялись. Они были очень похожи друг на друга. У каждого по карманному приемнику, который ловил одну и ту же радиоволну, у каждого по одинаковому золотому запасу в ротовой полости, у каждого одинаковое ленивое смирение в глазах. Я подумал, если уж они действительно настолько схожи между собой, то, скорее всего, у каждого из них есть еще и по кошачьей семье на попечении. Хорошо было бы.

Из трех больших храмов медленно вытекали струйки прихожан. В чем они могли исповедоваться перед священником, в каких прегрешениях сознаваться? Но каждый раз в воскресенье они всё так же исправно выполняли свой долг. Облегчали совесть, выплескивали вон из себя накопившуюся скверну, как застоявшийся чай из стакана. Разбредались по домам и готовили себе яичницу с сардельками, а потом заедали растворимый кофе печеньем “Юбилейное”. После брались за тряпки и дружно (в каждом окне по шелапутинцу, николоямцу или пестовцу) принимались счищать со стекол копоть подмосковного торфа.

Скрипя ржавыми спицами на покрившихся ободах, ехала домой и Глафира Егоровна. Покойно сложив руки, она по-птичьи выглядывала из своего платка и раздавала направо и налево наставления. “А чего? А ты не стыдись благовествования! Не надо этого. Вы мне лучше вот что скажите-ка, а где он, мудрец? Где книжник? Где совопросник, так сказать, века сего, а? То-то же! Нету. А почему? А потому, – и Глафира Егоровна приподнимала указательный палец, – что когда мир своею мудростью не познал Бога, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Вона! Ну так а что же! Ведь и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. И молодцы эллины с иудеями. И пусть ищут”. Племянник, держа коляску за поручни, кивал Глафире Егоровне, тяжело вздыхал и считал ее про себя святой.

Так шли мои дни. Я проводил их в играх, прогулках, упражнениях и занятиях. Я и сестры быстро росли, крепли. Как говорится, набирались сноровки и опыта. В детстве время равно самому себе. Оно приходится тебе в самую пору. Не спешит, не торопится. Не подгоняет, не тормозит. А потом с ним что-то происходит. Ему словно срывает резьбу. Или так: оно становится похоже на ту дурацкую шлейку, которая то ужасно жмет в шее и груди, а то наоборот – болтается слишком свободно, соблазняя к побегу. И я боялся будущего. Я боялся, что время испортится. Я не ждал от него ничего хорошего. Я много думал об этом, но мысли мои были бесплодны. Неопределенными были мои мысли. Каждый день зачаровывал меня своей невозвратимостью. Я оплакивал каждое сегодня, которое еще даже не успевало превратиться во вчера. Меня восхищало, поражало и пугало это таинственное правило, непреложный закон: уходить навсегда, в никуда. Исчезать, оседать в твоей памяти, как драгоценный песок в сите золотоискателя. Я шел лапами вперед, с головой, повернутой назад.

Часто по ночам я выбирался из нашей коробки и бродил по задворкам особняка среди бересклета и лабазника, среди лапки домовой и шиповника обыкновенного. Я вдыхал в себя аромат сада, вслушивался в кантаты сверчков, в их стройное беспрерывное пение. Я не видел в их труде ни смысла, ни цели, кроме той, какую, пожалуй, может преследовать любая музыка: подражать какому-то безвестному, невидимому, но все же существующему порядку. Голоса звучали так согласно, подхватывали друг друга так незаметно, что казалось – кто-то из них, тот, кто самый главный, самый почтенный, самый заслуженный сверчок, в черном бархатном фраке с полинявшими закрылками на спине, дирижирует ими, руководит. Но никто не руководил, никто не дирижировал. Мне чудилось присутствие неродившегося брата, слышалось сонное бормотание художника Белаквина и мягкие шаги Момуса…

Чем дальше я отходил от банановой коробки, тем сильнее становилось мое влечение к ней. Я словно тянул жгут, который требовал все больших усилий с каждым шагом. Я отпускал этот жгут и быстро бежал назад. Я осторожно забирался в коробку, устраивался возле мамы, как ни в чем не бывало подлезал под лапу АБК и прикрывался хвостом Зины. Я засыпал, и мне снилась старая Яуза.

Но вот пришел август и принес грозовые тучи. Начались затяжные дожди. Смог над городом стал рассеиваться. Многие шелапутинцы разъехались по дачам, и без того спокойный переулок совсем приутих и обезлюдел.

Был серый невзрачный день, один из тех дней, что остаются в памяти именно благодаря своей исключительной серости и невзрачности. Наш сад цвел пышно и пах самозабвенно. К сожалению, свидетелей тому вокруг было немного, если не считать моих сестер, мамочки, пары грачей, дюжины воробьев, бригады кротов (которые хоронили от нечего делать банку из-под кока-колы, выкапывали и хоронили снова) и прочей бесчисленной мелюзги. Мы с сестрами коротали послеобеденное время, развалившись на берегу огромной лужи и попивая из нее воду. С балкона доносились звуки *L’amoroso*. Я видел в отражении свою морду. Два конусовидных уха – классическое без десяти два.

– А вот скажи-ка, брат Савелий, – обратилась ко мне Зина, – ты бы хотел когда-нибудь оказаться в доме людей?

– Сложный вопрос, Зина, – ответил я. – Заглянуть на часок – да, я был бы не против.

– Нет, нет, – поддержала беседу АБК. – Сестрица имеет в виду не на часок, а насовсем! Вот ты, Савва, согласился бы провести всю жизнь среди людей в хорошо отапливаемой квартире, с регулярными обедами и ужинами, богатыми белками, жирами и прочими полезными ингредиентами, а?

На нос мне приземлилась божья коровка обратной расцветки: оранжевые пятнышки на черной мантии. Следуя простой логике, такое животное следовало бы называть коровьим божком.

– Девочки, я не могу сказать. Вот увижу потенциального хозяина, взвешу все *pro* и *contra*, тогда на месте и пойму, хочу я с ним жить или нет. А так я вам не могу сказать.

Сестры засмеялись.

– А ты и правда думаешь, кто-то будет спрашивать твое мнение? – спросила АБК.

– Ну, я думал, это как-то полюбовно, что ли, происходит, разве нет? – девочки меня сильно смутили.

– Савва, ты дурак. Все знают, что никто никого ни о чем не спрашивает. Просто берут тебя в охапку и уносят.

– Это правда?

– Все это знают.

Я сел перед лужей обдумать услышанное. Но не успел. Музыка на балконе смолкла. Рядом стоял Витя Пасечник. Он бесцеремонно взял Зину двумя пальцами, раздвинул ей задние лапы, осмотрел ее и вернул на землю. Зина бросилась наутек. АБК попробовала улизнуть, но Витя успел ее схватить. С ней он провел ту же процедуру. Разочаровавшись увиденным, он отпустил и ее. Я от страха не мог шевельнуться. Наступил мой черед.

Видимо, Витя никогда не держал в руках котенка. Во время инспекции он сжал меня грубо и неумело. Определенно, увиденное ему понравилось, потому что он завернул меня в полотенце и понес с собой. Внутри у меня все рухнуло. Все упало. Все замерло, а потом завращалось и попадало в черную воронку. В горле застыл спазм, я не мог даже пискнуть. Только из-под складки полотенца вполглаза я мог рассмотреть свою родню. Она бежала за мной. Девочки громко плакали, мама что-то кричала. Что-то про когти. Наверное, она хотела, чтобы я вцепился в Витину руку когтями и сбежал. Но я потерял силы. Я ни на что не был способен. Я лишь почувствовал, что подо мной и вокруг меня почему-то становится очень тепло.

– Ну что, котик, описался? – ласково сказал Витя.

“Да, я описался”, – мысленно ответил я.

Потихоньку я стал приходить в себя. Я вспомнил про когти, но, как ни пытался ими воспользоваться, они не могли проткнуть полотенце, чтобы добраться до руки. Укусить Витю я тоже не мог – голова не пролезала наружу. Оставалось только ждать, что будет.

Мы зашли в подъезд. Витя нес какую-то чушь про то, что “ну, лифтом мы тебя пугать не будем, пойдем пешочком”. Пугать не будем. ПУГАТЬ НЕ БУДЕМ! Да я и так уже от страха свое имя забыл. Я кричал и кричал. Я перестал понимать, что я кричу, но продолжал кричать. Всё? Это всё? Ладно, соберись. Не убивать же он тебя несет. Новое что-то наступает. Совсем новое. Дивное. Новая жизнь. Как оно все быстро произошло. Пролет за пролетом. Обшарпанные двухцветные стены. Какой-то мужик шлепает тапками с мусорным ведром. Почему я его раньше никогда не видел? Или видел, но не могу узнать в интерьере подъезда, а на улице сразу бы узнал? Улыбается мне.

– Котенка со двора подобрал, Витюш?

– Подобрал, дядь Дим.

– Молодец, а то они там всё во дворе под колесами играют. Девочка?

– Да мальчик вроде.
– Он там нассал на тебя.
– Да я уж понял, дядь Дим.
– Ну, бывай, Витюш!
– До свидания.

Позади зевнул ржавый мусоропровод, и содержимое ведра с грохотом полетело вниз. Мы шли и шли. Когда же мы уже дойдем? Как долго. Уж и влага почти остыла. Витюша пробовал меня успокоить, пытался провести по моей спине большим пальцем, но вместо меня гладил складку полотенца. Он что-то все говорил и говорил. “Сейчас мы котика накормим. Напоим. Сейчас котику будет хорошо!” Я задрожал. Мне действительно очень сильно хотелось есть. И пить. И почему-то спать. Прощайте все.

Наконец мы остановились на лестничной клетке. Встали перед дверью, обитой кожзаменителем и туго затянутой леской в пухлые ромбики. Витюша нажал на звонок. Он разлился соловьиной трелью. Сбоку от меня на стене висел электрощиток. Через его окошко я видел, как бешено крутится кольцо счетчика с красной отметкой. Издалека нарастало шарканье чьих-то тапочек. Звук замка. Что теперь со мной будет? Что? То ли я потерял сознание, то ли провалился в сон. Но как я оказался в квартире, я не помню.

II. Витюша

Я очнулся на чем-то мягком. Открыв глаза, я обнаружил, что лежу на подстилке в плетеной корзине. Я поднял голову. Рядом на полу стояли металлические миски с водой и сухим кормом. Тут же была еще одна чашка с каким-то желе. Очевидно, все это было куплено не сегодня. Посуда блестела, а с корзинки даже не успели снять бирку. То есть Витюша уже давно вынашивал план похищения котенка. Успел подготовиться.

Первым делом я, разумеется, хорошенько подкрепился и оглядел свое новое жилище. Паркет елочкой. На подоконнике цветы. Белая стеклянная люстра, имитирующая тряпичный светильник. Компьютер в углу. Между окон вывешен горный пейзаж, составленный из пазла, кое-где кусочки отсутствуют. Шкаф-стенка. На полках выставлены хрустальные сервизы, памятные тарелки и керамические безделушки. Электробритва с нацарапанными словами “Артему Артемовичу, с 30-летием Победы, от сослуживцев”.

И как же все быстро произошло. Как быстро. Я заслышал шаги и бросился обратно в корзинку. Дверь отворилась. Тихо вошел Витя. Я притворился спящим.

– Август? Ав-густ? Ау!

Очень интересно.

– Август! Просыпайся. Хватит спать.

Август, значит. Ну здравствуй, новый я. Я вспомнил слова тети Мадлен: “Бывает хуже. Бывает гораздо хуже”. Ну что ж. И то верно, бывает гораздо хуже. Август так Август. Ладно. Надо привыкать к новому имени, новому жилью. Я посмотрел на своего патрона. На своего первого патрона! У него были большие черные глаза и до того покатые плечи, что фигура его напоминала узкую винную бутылку. Он был сутул, колени как-то странно согнуты, а в своих длинных руках он как будто нес невидимые ведра по шесть пудов каждое.

В комнату, шаркая тапочками, вошла бабушка Вити. Ее звали Раисой. В одной руке она держала сигарету, в другой – пепельницу и не расставалась с ними ни на минуту. Квартира тонула в пелене. Застоялый дым медленно перетекал из комнаты в комнату, словно скорбные безмолвные ду́хи. Мои легкие спасало лишь то, что я передвигался понизу, там хотя бы было чем дышать. Впрочем, с моим появлением форточки и окна стали немного приоткрывать.

Бабушке было около семидесяти. Более сорока из них она отдала преподаванию английского языка в школе. Мочки бабушкиных ушей, которые годами отягчали увесистые серьги, одрябли и обвисли. Выцветшие глаза ее смотрели спокойно, они все принимали и всех жалели. Она говорила очень мало и постоянно кивала головой – то ли из-за того, что у нее была болезнь Паркинсона, то ли из-за того, что наперед со всеми безропотно соглашалась.

– Проснулась кошечка?

– Ба, это кот. Его зовут Август.

– Надо было девочку брать. Они поспокойнее.

Лена Пасечник познакомилась с Сережей Дудиным на дне рождения приятеля. Если быть точнее, они обратили внимание друг на друга еще в метро; медленно оглядывали вагон слева направо и справа налево, не питая ни малейшего интереса ни к пассажирам, ни к пестрой рекламе, а только затем, чтобы на мгновение встретиться глазами.

На “Киевской” в вагон зашел безрукий инвалид. Не было понятно, куда класть милостыню, потому что соответствующая емкость у инвалида отсутствовала, так что его проход превратился в какое-то странное и совершенно бессмысленное дефиле. И от этого Лене с Сережей стало неловко, и они поняли это, и оба улыбнулись. А потом оказалось, что им выходить на одной станции, потому что их приятель жил в районе Митино. И в самом этом слове – Митино – судьба элегантно, по-английски, шутила над их встречей. Потом они шли общим

маршрутом, косыми дорожками между гаражей, пустырей и детских площадок. Они стали догадываться, что оба приглашены на одну вечеринку. И когда Сережа позвонил в домофон, то ответил имениннику за себя и за Лену: “Это мы – твои лучшие друзья!” И ехали они в лифте, уже что-то друг о друге предполагая, и в лифте смотрели себе под ноги; и было так тихо, что хотелось уронить ключи или откашляться. А потом они стояли вдвоем на площадке у квартиры и отскабливали ценники от своих подарков. И это их окончательно связало. Уже в квартире, наспех поздравив именинника, они как будто обратились в две заряженные частицы.[4]

– Лена, знаешь, я чувствую, как будто мы обратились в две заряженные частицы, – сообщил Сережа.

– И я, и я тоже так чувствую, – ответила ему Лена.

А потом Сережа взял Лену за руку и повел ее вверх по этажам. И там, на последнем этаже, опершись о чердачную решетку, они зачали Витю.

А еще через три недели Сережа и Лена пошли гулять в парк Горького. И каждому было сказать другому что-то очень важное. Был глупый, серый день. Без числа и имени. В полном одиночестве Сережа с Леной опробовали по очереди каждый аттракцион в зоне развлечений. Старый смотритель и по совместительству кассир заходил в будку, надевал фуражку и менял деньги на билеты. Потом снимал фуражку, выходил из будки и шел к пульту управления аттракционами. Должно быть, где-то на производстве он потерял два средних пальца, потому что рука его всегда изображала какой-то сатанинский жест. Очевидно, ему доставляло удовольствие исполнять свои обязанности. Он был гордым смотрителем. Его маленькая сморщенная рука приводила в движение огромный механизм. Он поднимал рычаг за черный набалдашник – оживал клоун с облупившимся носом и зелеными хохолками по бокам лысины. Глаза его зажигались, а руки били в тарелки. Из динамиков на столбах разгонялась зажеванная полька. Друг за другом торопились лампочки. Лена и Сережа усаживались в кабинку. Он пристегивал на Лене ремень и опускал поручень. Вагончики трогались. Лена прижималась к Сереже, зажмуривала глаза и не открывала их до самого конца. Их состав медленно поднимался по наклонной и потом бесцеремонно бухался вниз, чтобы у самой земли в последний миг одуматься и снова взлететь. Лену с Сережей качало, роняло, трясло и опрокидывало. Москва-река сверкала то справа, то слева, то прямо над головой. Лена беззвучно ужасалась, а Сережа смотрел перед собой и думал о чем-то своем.

Смотритель стоял внизу и, задрав голову, фотографировал Лену и Сережу на свой полароид, хотя его об этом никто не просил. Но он делал это так, на всякий случай, если им вдруг захочется приобрести пару кадров. Но им не хотелось приобрести пару кадров.

Потом они гуляли по дорожкам парка и Лена ела карамельных петушков. Из-за излучины Москвыреки выплывали безлюдные трамвайчики. Пустые и голодные. Сережа сжимал Ленину руку в своем кармане. Напевал какую-то мелодию. Потом вдруг остановился, притянул Лену к себе и поцеловал. Сильно и долго. Они сели на скамейку. Сережа чертил каблуком на земле какую-то формулу, а Лена хрустела петушком. Каждый подбирал нужные слова. Первым подобрал Сережа:

– Лена. Мне нужно сказать тебе одну вещь.

– Правда? Мне тоже.

– Тогда говори.

– Нет, ты первый.

– Давай ты первая.

– Нет, ты начал, ты и говори.

– Хорошо.

Оба смотрели себе под ноги.

---

[4] Игра слов. *Meeting* по-английски “встреча”.

– Дело в том, что… – Сережа задумался.

– В чем? – спросила Лена, держа петушка на отлете и разбирая загадочные закорючки, которые чертил Сережа.

Сережа выдохнул и сказал:

– В общем, дело в том, что мне дают место в университете Хьюстона.

Лена нахмурилась, отвернулась. Потом быстро взяла его под руку и прижалась к нему.

– Ну, это же прекрасно. Правда?

– Да, это очень хорошо. Это очень хорошо.

Лена слышала, как визжит следующая партия пассажиров на аттракционе.

– Это ведь не все, что ты хотел мне сказать?

– Нет, не все. Я не могу тебя взять с собой.

– Та-а-ак, – протянула Лена, не выпуская обглоданную палочку изо рта. – Вот оно что. Совсем не можешь?

– Совсем. Дают только два места, – запнулся и добавил как-то скороговоркой: – Будем изучать свойства плазмы. Делиться опытом с американскими коллегами. Это прорыв в двусторонних отношениях.

Лена согласилась с Сережей, что это прорыв в двусторонних отношениях. Потом выпрямилась и внимательно посмотрела ему в глаза. Она хотела было что-то сказать, но промолчала. Они сидели так минут десять.

– Ты ведь тоже что-то хотела сказать?

– И когда ты уезжаешь?

– Послезавтра.

– Даже так?

– Что “так”?

– Так скоро?

Мимо прошла пара с аттракциона. Она тоже ела петушок, а он быстро-быстро махал в руке снимком полароида.

– Говори теперь ты.

– Нет, ничего.

– Слушай, Лен…

– Да?

– Я правда должен ехать. Все это… Ты ведь понимаешь меня?

– Да, я тебя понимаю. Это окончательное решение, да? Ты точно уедешь?

– Да. У меня уже билеты. Мне сделали визу. Я, как только там освоюсь, сразу тебя к себе приглашу, – сказал Сережа, и здесь уже слова его стали выходить как-то легче. – Нет, правда. Ей-богу. Это очень прибыльное дело.

– Да, очень прибыльное дело.

Лена еще раз посмотрела в глаза Сереже. Она смотрела в них долго и внимательно, как будто там было что-то еще; что-то такое, что могло сообщить о решении Сережи больше, чем его слова. Она заметила у него над бровью маленький белесый шрам. Ей было странно, что она раньше его не замечала.

– Там огромная лаборатория, самая большая в Техасе. Одна из лучших в Штатах.

– Слушай, а откуда у тебя этот шрам?

– А?

– Откуда у тебя этот шрам над бровью?

– Да так, подрался в детстве.

– М-м, подрался в детстве. Понятно.

Когда у Лены настал срок, пришлось ехать в другой район, потому что роддом имени Клары Цеткин уже давно пустовал. Неожиданно взялся помочь брат Сережи Боря. Он привез Лену и ее маму в роддом на машине. Оплатил дополнительные расходы. Когда все кончилось, передал ей огромный букет и игрушечную собаку. Такие же букеты и собаки лежали почти у каждой койки в палате, потому что покупали их в одном и том же магазине подарков за углом, но Лене все равно это было приятно.

Оказанные услуги почему-то убедили Борю, что теперь он имеет на Лену некоторые права. Боря наезжал к ней не реже двух раз в месяц. Он всегда был сильно пьян. Делился своими успехами в бизнесе (Боря торговал брянским комбикормом) и хвастался связями в криминальном мире. Все норовил выпить с Леной на брудершафт, тянулся ее поцеловать. Каждый раз говорил, что их пути с женой вот-вот разойдутся и что он хочет изменить свою жизнь. Лена не поддавалась, но после его ухода обнаруживала у зеркала в коридоре конверт с деньгами. Это было кстати. Денег в семье было мало. Отучившись на филолога, Лена не смогла найти работу по профилю. Она работала в автосалоне: редактировала договоры и контракты. Ее мама оставалась дома с внуком и переводила с английского дешевые детективы.

Вечерами Лена грела руки над конфоркой, потом брала диск, на обложке которого была изображена полуголая воительница, оседлавшая дракона на фоне пурпурного заката, а внизу оттененным курсивом было написано *Romantic Collection*. Лена включала любимую песню *Scorpions "Still Loving You"*. Песня играла на повторе много раз. Лена думала о том, что место самого Сережи в памяти все больше занимают его окрестности: любимые сигареты *Lucky Strike*, джинсовая куртка или привычка чертить пальцем по воздуху, на поверхности стола или на стене всякие невидимые формулы. Но само его лицо почему-то вырисовывалось каким-то смазанным. Как будто Сережа отражался в запотевшем зеркале.

Однажды, спустя года три-четыре, Лена ехала по эскалатору и заметила впереди сверху кого-то очень похожего на Сережу. Когда этот кто-то приблизился настолько, чтобы можно было сказать наверняка, Сережа это или нет, световой плафон закрыл его лицо, и он так и проехал мимо, спрятанный от Лены. К своему неудовольствию, Лена заметила, что сердце забилось и стало проситься наружу – через кофту, пальто и туда, вниз по ступенькам, за тем, кто так был похож на Сережу.

Дни Лены были безрадостными и пустыми. Ей нужна была помощь. И эта помощь пришла. И не от кого-нибудь, а от полковника Уолкотта, адвоката Джаджа и Елены Петровны Блаватской.

Как-то на развале у метро "Марксистская" она приобрела книгу Блаватской "Голос Безмолвия. Семь врат. Два пути". С удовольствием прочитав книгу, Лена вернулась на развал и докупила еще "Загадочные племена на Голубых горах". Потом "Синтез оккультной науки" Джаджа. Потом "Великие посвященные" Эдуарда Щюре, "Две жизни" Конкордии Антаровой. И вот Лена стала интересоваться сферами, чье влияние простирается за пределы земных представлений. Она увлеклась эзотерическими учениями, тайнами священной триософии, трудами великих пророков: с благоговением раскрывала лепестки "Розы мира" Даниила Андреева, вместе с Карлосом Кастанедой совершала путешествие в Икстлан и, держась за шпагу Эммануэля Сведенборга, пролетала над несметными ангельскими сонмами внутренних небес. Она зачитывалась трудами Блаватской, перепечатанными несколько криво со старых дореволюционных изданий; разбиралась в таинственных рисунках средневековой космогонии и запоминала, каким созвездиям, стихиям и числам соответствует каждая ступень, ведущая к храму Соломона; перелистывала старые номера "Науки и религии", выписывала газету "Тайная власть". По воскресеньям вместе с подругой она посещала лекции известного астролога Савла Глыбы. Там, в едва отапливаемом помещении ДК Горбунова, она конспектировала озябшими пальцами тезисы ученого. Через два с половиной часа (лекция длилась около шести часов), зажмурив глаза и напевая про себя песенку, чтобы самой не слышать шуршание цел-

лофана, она осторожно доставала из пакета бутерброд. Лектор, чья борода была столь черна, что издалека казалась синей, производил впечатление героя старинной сказки, а множество продрогших слушательниц выступали в роли его обреченных жен. В перерыве женщины спускались в холл, где распределялись по группкам и, двоясь в высоких зеркалах, обменивались впечатлениями. Тогда только обнаруживалось, что на лекциях присутствуют и мужчины. Эти весьма худые и приятные в общении люди смотрели вокруг сквозь линзы таких невозможных диоптрий, что, казалось, они только вчера родились и никак не могут надивиться миру.

Да, новое увлечение вселило в Лену надежду, что все не напрасно. Что все не случайно. Что все окупится и оправдается.

Подрастал Витя. Однажды, натягивая на него рейтузы, Лена вдруг поняла, что постарела. И ей это понравилось. Как бы в подтверждение этого из дверки в настенных часах выскочила кукушка и, склонив голову набок, поприветствовала мать и сына.

Детство Витюши было унылым и неинтересным. Витя рос тихим, спокойным ребенком. Серость детских лет нарушали только разноцветные тома “Библиотеки приключений”. В то время как бабушка смотрела мексиканские сериалы, а мама чертила гороскопы, двухлетний Витя гладил и облизывал старенький глобус. Австралия на нем совсем обшарпалась, а вдоль Марианской впадины проходила не геологическая, но реальная трещина. В эту трещину маленький Витюша заглядывал, гукал и с удовольствием плевал. Он мерил планету, вышагивая ее пальцами, – от Антарктики до Антарктиды, от Гренландии до Японии. К четырем годам Витюша знал наизусть столицы всех государств. К шести уже решал шахматные задачи. К восьми стал замечать, что избыток знаний и чрезмерная молчаливость вызывают у окружающих детей неприязнь и тревогу. Неуспехи в физкультуре эту тревогу и неприязнь умножили и закрепили. А класс, как назло, выдался на редкость спортивный. Уроки походили на пытку. Прыгали в высоту – Витя делал долгий разбег, но перед самыми матами вдруг тормозил и, поптичьи трепеща руками, падал плашмя на планку. Забирались по канату – Витя еле карабкался под самый потолок, но на обратный путь не оставалось ни душевных, ни физических сил. Вцепившись в канат, он с ужасом озирал обратный путь и громко звал на помощь. Слезы стекали по щекам на ладони, с ладоней на локти, с локтей на колени, с коленей на кеды и наконец свободно летели на пол спортзала. Играли в волейбол – подбросив мяч на подаче, Витя никогда, никогда, никогда не мог по нему попасть. Витюша превратился в мишень для насмешек и издевательств.

Он стал изгоем. К одиннадцати он отгородился от мира узким кругом преданных друзей: Айвенго, Робинзон Крузо, Гулливер, д’Артаньян и Чингачгук. После уроков Витюша ложился на кровать и плакал. Он переживал вновь и вновь нанесенные одноклассниками обиды. Друзья толпились у кровати и утешали Витюшу каждый на свой лад. Д’Артаньян бил по спинке кровати кулаком и советовал переколоть обидчиков шпагой. Робинзон предлагал Вите бросить школу и дом, сбить плот и отправиться вниз по Яузе. Молчаливый Чингачгук кивал перьями, обдавая присутствующих ветерком. В окне сочувственно моргал гигантский глаз Гулливера.

Витя приготовился пройти по жизни, зажмурив глаза. Он не ожидал впереди ничего хорошего. Он стал догадываться довольно рано, что желающего судьба ведет, а нежелающего тянет.

Но он любил не только читать. Витюша Пасечник любил кататься на электричках. Несколько раз в год класс выбирался за город на пикник или на экскурсию в какую-нибудь усадьбу. В поезде Витя малодушно усаживался спиной против движения. Незначительные события за окном: полустанки, рощицы, будки смотрителя, озерца и маленькие уютные кладбища на пригорке – на все это он любил смотреть не анфас, но с тыла; пейзаж проходил перед ним, как устаревшие новости, которые Витя узнавал последним. Он обожал наблюдать. Он

считал, что единственное занятие, достойное живого существа, – это смотреть по сторонам. В этом он значительно преуспел.

Нельзя сказать, что Витя был совсем одинок. Все-таки у него имелся один школьный друг, Ромыч, но дружба их складывалась довольно странно. В начальных классах они не испытывали друг к другу особого расположения, но, когда они стали постарше, их объединило нечто посильнее общих интересов, а именно обида. В школе их третировали по разным причинам. Витюшу – из-за его чрезмерной замкнутости, Ромыча – из-за его полноты: одноклассники называли его “Роман в мягкой обложке”. С Ромычем Витя часто прогуливался по району после школы, размахивая пакетами со сменкой, попивая йогурт и бросая камешки в Яузу. По установившейся между ними моде друзья не надевали на себя куртку целиком, а натягивали на голову только капюшон. Они много беседовали. Папа Ромыча открыл шиномонтаж, и сам Ромыч увлекся автомобилями. Он подолгу рассказывал Витюше о преимуществах *Audi* перед *BMW* или *Citroen* перед *Peugeot*. Витюша слушал друга, угадывая, в каких местах надо вставить подходящее случаю “хм”, “ого” или “вау”. Когда Ромыч заканчивал, друзья еще какое-то время шли в тишине, загребая ботинками листья. Потом вступал Витя. Он делился с Ромычем сюжетами древнегреческих мифов в редакции Куна или объяснял, откуда Дюма взял имена для своих мушкетеров, и припоминал названия каравелл, на которых Колумб причалил к острову Сан-Сальвадор. Дослушав рассказы, Витя и Ромыч разбредались по домам.

Довольно часто они приходили друг к другу в гости. Витюша помогал Ромычу делать уроки, Ромыч обучал Витюшу хитростям игры в *FIFA*. Но в школе Ромыч друга если и замечал, то обходился с ним очень холодно. Витя думал, что это только оттого, что в школе надо быть сосредоточенным на учебе, а так как Ромычу науки давались тяжело, то и усилий от него требовалось в два раза больше. Вот он и уделяет урокам больше внимания, чем Вите. Но та же история повторялась и на переменах. Ромыч избегал его, общался с ним как-то вяло и как будто всегда искал и слишком быстро находил повод уйти. В общем, Витя наконец нашел в себе силы признаться: он Ромычу не нужен. И с тех пор Витя прекратил общение с бывшим товарищем. Дружба их стала быстро таять, как позабытый снеговик на весеннем солнышке.

Шло время. Витя вступал в беспокойную пору отрочества. Между уроками он простаивал в углу, рассматривая серые полусферы школьного звонка. Две металлические выпуклости с выдающимися гайками посередине будоражили его воображение. Он проникся к звонку загадочным и благоговейным чувством, какое язычник питает к предмету культа. Он зарисовывал звонок карандашом в блокноте. Тонкими штрихами оттенял упругий металл. Старательно выводил грани гаек. Послюнявив палец, ретушировал едва заметную вмятинку под левым полушарием. Сны Витюши становились тяжелыми и вязкими. Организм менялся. Иногда Вите как будто слышался шорох и даже скрип, с которыми увеличивается и раздается его тело.

Подрос не только Витя, подросли и его одноклассники. И одноклассницы. Подросла и Юля Новикова. Юля Новикова, которая сидела через парту и в один наушник слушала старомодный трип-хоп; которая раз в месяц перекрашивала волосы; которая организовала с подругой дуэт “-тся/-ться” и давала по воскресеньям онлайн концерты в ютьюбе; которая однажды заявилась в класс с шеей, обернутой в целлофановую пленку, а когда ее сняла, то всем открылась внушительная разноцветная татуировка в виде дельфина; которая пряталась по углам на переменах и читала Эдгара По и Кафку; и главное, та Юля Новикова, которая всегда, всегда, всегда оставалась молчаливой и сохраняла высокомерное равнодушие, в то время как остальной класс глумился и потешался над Витей.

Гулливер перестал заглядывать в окно Витюши, перья Чингачгука больше не овевали комнату, д’Артаньян не стучал кулаком по кровати. Юля медленно вытеснила из мыслей Вити все его прошлые интересы. Влечение к Юле вселило в него уверенность, привязанность к ней

подарила силу, которая убедила его, хотя бы ненадолго, что он способен на все. Это было то время, когда Витя ничего не боялся.

Он завел страницы в соцсетях – только чтобы следить за той, другой жизнью Юли. Он стал слушать ее любимую музыку, смотреть ее любимые фильмы. Но чем больше он пытался в нее проникнуть, сродниться с ней, принять ее, тем дальше от нее оказывался. Он изучал ее, как новый язык, но каждое усвоенное о ней слово вдруг разбивалось еще на десять непонятных, каждая прополотая к ней тропинка разделялась еще на двадцать. Даже ее лицо, которое, как ему казалось, он окончательно себе уяснил, вдруг обретало нюанс, какого он раньше не замечал. И это полностью разрушало сложившееся представление о ней.

В голове у Вити уживался целый выводок Юлей. Разных качеств, достоинств и характеров. Все они были совершенны, все были неуловимы. Каждая была для него драгоценна, и ни одной из них он не мог в том признаться.

Если любить – это значит хотеть касаться, то да, Витя был влюблен. Касаться – единственное, чего он хотел. Он касался Юли взглядом и помыслом. Он заходил в класс раньше всех и касался ее пустующего стула. Он касался ее рюкзака, в котором одна лямка была всегда длиннее другой; он касался десятков тысяч пикселей, которые составляли на экране ее фотографии и слова в ее статусах, каждого в отдельности и всех разом; он касался ее имени, каждой буквы в нем, даже пустого округлого пространства в Ю и Я. Все, что имело с ней хоть какую-то связь, хоть какое-то к ней отношение, одухотворялось и обретало скрытый объем, как картинки “Третий глаз”. Ее одежда, ее вещи, ее прическа, татуировка, неизменная жвачка “5” с одуряющим запахом мяты. Ее полумифические папа с мамой, которые никогда не ходили на родительские собрания и вообще не появлялись в школе и которых, должно быть, никогда и не было, потому что трудно было поверить, что она могла когда-то родиться вот так же, как все. Эти бесчисленные приметы обратились в формулу, которую Витя выучил наизусть, но чей смысл совершенно, абсолютно, безнадежно не понимал.

Это чувство натягивалось, как канат. Оно держало Витю на привязи и сковывало его движения. Оно требовало выхода. Эта сила зрела, но Витя не знал, что с ней делать. Он покупал Юле билеты на концерт *Massive Attack*, но так и не отваживался подарить. Он покупал цветы, но боялся, что она такие не любит, и оставлял их дома. Воспользовавшись тем, что день рождения – естественный повод для подарка, преподнес ей электронную книгу. Она поблагодарила, но продолжала ходить в школу со своими книгами. Любой случайный знак внимания с ее стороны оглушал, как удар в пудовый гонг. Просьба подержать место в очереди в столовку, или ее куртка, оказавшаяся рядом на вешалке в гардеробе, или неожиданный лайк какой-нибудь его записи “ВКонтакте”.

Шло время. Чувство Вити не ослабевало, но менялось. Он не узнавал себя месячной давности. Витюша собирался после школы учиться на историка. Он читал много книг. Где-то он прочел, что когда Чингисхан выходил по утрам из кромешного мрака юрты, то перед ним выстраивался коридор рабов, которые держали перед правителем шелковые платки всех цветов радуги – от самого темного до самого светлого. Так глаза Чингисхана постепенно привыкали к яркому степному солнцу. И так же Витя привыкал к своему чувству.

Однажды ночью он не выдержал. Сел за компьютер и одним выдохом, не отводя глаз от клавиатуры, настрочил письмо и тут же, не проверяя, отправил. Письмо было следующего содержания:

Ljhjufz^ >kz! Vjz;bpym,tp nt,z yt bvttn cvsckf! Z nt,z jxtym cbkmyj k.,k.& Z ghjie nt,z cnfnm vjtq&.[5]

[5] Дорогая Юля! Моя жизнь без тебя не имеет смысла! Я тебя очень сильно люблю. Я прошу тебя стать моей.

Потом он сел у окна, положил локти на подоконник и стал ждать ответа. Грачи тихо беседовали в круглой люкарне роддома. Безголовые сатиры устало, нехотя, но все-таки преследовали сонных нимф. Витя глядел на небо. Луна восходила каждую ночь. Каждую ночь. Исчезала утром, чтобы непременно, во что бы то ни стало вернуться вечером, как пятно в Кентервильском замке. Звезд видно не было, но Витя знал, что они где-то там, за крышами, светят себе без страсти и желания, как актер в бесконечном сериале, которому осточертела и слава, и деньги, но который обязан выполнять свою работу согласно контрактным обязательствам. Было так тихо, что Витя слышал, как у соседей сверху завибрировала эсэмэска. Витя решил про себя, что если тень от ветки коснется стола, то Юля будет с ним. Будет с ним… Что это значит – *будет с ним*? Она вдруг, ни с того ни с сего, обнаружит в нем какие-то не замеченные раньше преимущества? С чего бы это? Она переоценит… Раздался звук полученного сообщения.

Витя вернулся к компьютеру и прочитал: “Витя, прости, никаких романтических отношений у нас с тобой не будет, а просто общаться мне с тобой тяжело”.

Витя посмотрел на стол: тень от ветки то накатывала на него, широко расползаясь по всей поверхности, то отступала назад. Что же теперь делать? Как себя заново обрести? Что-то тяжелое и темное поднималось из глубины; что-то нехорошее вызревало, стучало и надвигалось снизу, как расшатанный старый лифт, скрипя несмазанными тросами, постукивая о балки. Что же это было? Предчувствие грядущих поражений, будущих провалов, безоговорочных капитуляций. Вот его удел. Пустить сигнальную ракету, собрать остатки верных ему частей? Напрасно. Каких частей? Не было у него никогда никаких частей. На что он рассчитывал? Чего он ожидал? Ложная надежда. Глупая самоуверенность. Зачем же он согласился проехать по этой дороге, зная наперед каждый ее камешек, каждый изгиб, каждую рытвину и неровность? Предвидя, предчувствуя печальный итог путешествия. И вот его старинный драндулет, пыхтя и пуская черные выхлопы, отчаянно сигналя клаксоном, неумолимо въезжает в болото. И под лягушачий реквием и последние напутствия кулика торжественно опускается в трясину. Навсегда.

Близится последний звонок, ЕГЭ, потом они перестанут видеться. Надо как-то прожить оставшиеся недели. Они поступят в разные институты или лучше, чтобы его забрали в армию. Так их пути навсегда разойдутся. Поскорее бы. Поскорее бы. Но, возможно, когда пройдет много-много лет, окажется, что эта любовь была похожа на брошенный в воду камень, круги от которого будут расходиться всю его жизнь.

Нужно было найти исход своей тоске. И Витя нашел. Этим выходом стал я.

На одной из многочисленных полок Витиного шкафа я увидел фотографию. Шелапутинский переулок. Снежный день. Особняк Морозовых. Почти все руки и ноги у купидонов целы, головы и плечи у нимф на месте. Мой родной “запорожец”. Еще без брезентового колпака, все внутренние органы в порядке, колеса накачаны. С забора выглядывают грачи – совсем птенцы. Сережин брат Боря держит в руке два фужера накрест, как маракасы, и дирижирует участниками съемки. Мама бережно обнимает куль с новорожденным Витюшей, тут же бабушка Раиса неловко пытается спрятать сигарету. Еще живой дедушка Артем. Смотрит куда-то вон из кадра, как будто предчувствует скорую кончину. Две подруги Лены в одинаковых серых пальто и мохеровых капорах. Почему-то держатся за руки. Угол фотографии закрыт чем-то багровым. Это попал в объектив палец фотографа. Внизу выжженными цифрами указана дата съемки. 15.11. 14:38. Но кто стоит за фотоаппаратом, уже никто никогда не вспомнит.

Первым делом Витя перенес меня в ванную. Дверь ее была обклеена пленкой, имитирующей древесину. Посредине висела табличка с изображением слоненка, принимающего душ. Рядом на двери туалета тот же слоненок в профиль к зрителю справлял малую нужду в унитаз. В комнате на двух квадратных метрах ютились собственно ванна, стиральная машина, рако-

вина и бак для грязной одежды. Ванная, как, впрочем, и туалет, и коридор, и все три комнаты, представляла собой жалкое зрелище и безмолвно требовала ремонта.

Витя заткнул раковину резиновой пробкой и пустил воду. Я почуял неладное, но до поры до времени старался не подавать виду. Витя неловко держал меня за шкирку и приговаривал какую-то нелепицу про “спокойствие” и “смелых мальчиков”. Я бы на его месте совершил надлежащее без лишних приговорок, они меня только нервировали. Вообще, в моем патроне удивительным образом сочетались крайняя щепетильность, заботливость в намерениях и совершенная неуклюжесть на практике. Вот и сейчас он бесцеремонно бросил меня в раковину, так что я ударился о дно и наглотался воды. Я снова не успел воспользоваться ни клыками, ни когтями. Витя больно чесал меня какими-то щетками, намыливал шкуру едким шампунем с изображением лошади на флаконе, мял меня и всячески мучил. Конечно, справедливости ради надо признать, что я служил настоящим питомником для различных насекомых и прочих мелких гадов. Шампунь “Лошадиная сила” знал свое дело: мои обитатели в спешке разбегались, разлетались и расползались по сторонам. Кого успевал – я съедал на месте, остальные шли ко дну и там оканчивали свое жалкое существование.

Вода была омерзительна. Она была гадка и противна. От воды хотелось отмыться. Вместе с грязью с меня сходили милые мне привычки, приметы, особенности и черты. Я даже подумал, что у меня стерлось лицо. Наконец я был извлечен из раковины, тщательно вытерт, высушен и отнесен обратно в комнату. Но мытарства мои не закончились. Витя усадил меня на колени. В пальцах у него сверкнули маленькие ножнички, и он принялся весьма неумело, коряво и, скажем прямо, неталантливо остригать мои когти. Естественно, что, незнакомый с процедурами маникюра, я оказывал агрессору посильное сопротивление. Вотще. Это лишь добавило Виктору спортивной злости и куража. Пару раз он переусердствовал и угодил острием в капилляры. Я завизжал от боли. Но вот что странно: резкой была боль и нестерпимой обида, однако я не мог не сознаться себе, что нахожу место для новых открытий. Ведь это была самая первая боль в моей жизни, как и первое унижение. Скажем так, оскорбительная помывка шампунем “Лошадиная сила” – не торжественный ли это прием, непременная инициация? *Sine qua non*, если позволите. Не это ли. Но зачем мне это все? Зачем? То есть я был призван затушить остатки тлеющего чувства Витюши? Я должен был возместить урон? Но я никогда не хотел согревать ничьих охладевших сердец. Да и вообще, что это за привычка? Откуда, из каких шумеров и месопотамий пошла эта глупая традиция заделывать котами душевные бреши?[6]

До вечера я проспал в корзине и был разбужен криками. Витина мама пришла домой, и Витя представил ей нового квартиранта. Новость не пришлась маме по душе. Нет, она не оценила по достоинству идею сына. Напротив, после короткого затишья разразилась настоящая буря. Начались ругательства и угрозы. Бабушка в это время смотрела в своей комнате сериал. Она сделала звук в телевизоре громче, и к русской ругани теперь добавилась еще и ругань латиноамериканская. На пике скандала послышался звук разбитой посуды – это приказала долго жить любимая мамина кружка.

Я закрыл глаза и приготовился к экстрадиции в родной двор.

Но во двор я не вернулся. Нет, я так и не увидел коробки из-под бананов *Chiquita* и не встретился ни с кем из моих близких. Я долго думал, почему же хозяйка все-таки согласилась оставить меня дома? Но думы мои были пусты и бесплодны. Мама дошла до крайней степени жалости к себе. Разбитая кружка, так сказать, переполнила чашу ее терпения. Она решила, что пусть в очередной раз все будет именно так, как ей не хочется. Возможно, она слишком привыкла, что в жизни все идет не по ее сценарию, и даже научилась получать от этого удовольствие. Возможно, истинной победой для нее было тотальное, выстраданное поражение. А возможно, и нет. Так или иначе, я стал жить в семье Пасечников.

---

[6] Непременное условие (*лат.*).

Моя первая встреча с мамой Леной состоялась только через пять дней после моего заселения. Я, чего уж скрывать, по природе своей трусоват, поэтому старался избегать попадаться ей на глаза. Но все-таки наше знакомство не могло не состояться. Это случилось, когда мама вернулась с работы, а я вышел на вечернюю прогулку из комнаты Витюши. Мы встали друг перед другом в разных концах коридора, как дуэлянты в фильмах про Дикий Запад. Мама Лена была похожа на постаревшего ребенка. Даже не так… Скорее, на забытую в парке куклу. Да, на куклу, которую оставили на качелях, и она так и просидела под дождем и снегом с раскрытыми объятиями много-много месяцев. У Витиной мамы были большие черные глаза, как и у ее сына, и черные же волосы, уже с проседью, которую она почему-то не закрашивала. У нее были маленькие губы бантиком и бледная кожа. На лице ее всегда было напряжение, как будто она что-то пыталась запомнить или решить сложную арифметическую задачу. Не знаю, сколько бы мы так простояли, но захрипел механизм в настенных часах, из дверцы выскочила заспанная кукушка и сообщила, что наступил десятый час вечера. Я уселся на задние лапы и отрекомендовал себя в самой галантной и изысканной манере. Мама Лена ничего мне не ответила. Повесила плащ на крючок и пошла с сумками на кухню. Потом вернулась, села передо мной и с тем же тяжелым выражением на лице тщательно меня погладила и почесала. Я лег на спину и выставил перед ней живот в знак того, что не ожидаю от нее подвоха. Она даже изобразила на лице что-то вроде улыбки[7].

Приняв постриг, лапы мои обмякли, поэтому о порче обоев или человечьей одежды можно было на время забыть. Зато я отыгрывался на цветах в комнате бабуси. На подоконнике у нее расположилась целая оранжерея. Герань клубилась, бильбергия топорщилась, крестовник роули… нет, крестовник роули рос просто, тихо и неприметно. Но моим любимцем был *Aloe arborescens*. Его экстрактом бабушка лечила всю семью от насморка. Твердые листы алоэ неохотно поддавались моим клыкам, но когда я наконец с хрустом их прокусывал, то горький и приятный сок растекался по моим внутренностям и бодрил меня и пьянил. Бабушка, конечно, замечала следы клыков на стеблях и листочках, но была в высшей степени снисходительна и терпелива к моим проказам. В некотором смысле она и меня считала чем-то сродни цветку. И, скажем так, не смела вмешиваться в жизнь дикой природы и регулировать ее законы, к которым она относилась с тем большим почтением, что они были ей совершенно неизвестны.

Я долго не мог понять, что я *должен* делать, но очень быстро понял, чего я точно *не должен* делать никогда. В первую очередь запреты касались сферы мочеиспускания и калоизвержения. Разумеется, обычно я справлял нужду в специально устроенный для этой цели лоток. Но однажды все-таки не удержался и испытал судьбу, оставив по артефакту в том и другом сапоге мамы Лены. Этими же самыми сапогами я был немедленно бит.

Затем мне строго-настрого запрещено было есть с человеческого стола. Мне и так этого не особо хотелось, но жизнь в дворовой коммуне, где все запросто, где все общее, давала о себе знать. Резким движением меня смахивали со стола (между прочим, так я обнаружил в себе счастливое умение всегда приземляться на лапы). Добавлю, что никакие увещевания и угрозы не действовали, если на столе оказывался трехпроцентный творог “Саввушка”.

В-третьих, спать мне дозволялось везде, кроме человеческой постели. Уж этого я никак принять не мог. Я тепел, шерстист и, если надо, нежен. Но у них было свое мнение на этот счет. Наименьшей толерантностью в этом вопросе, как вы догадываетесь, отличалась мама Лена. Чуть только я засыпал в пролежнях пледа или в любовно обустроенной пещере под одеялом, она тут же лягала меня и сбрасывала прочь. Но я не испытывал к ней ненависти. Скорее, сочувствие. Или жалость, если угодно. К тому же, мне кажется, я был полезен с точки зрения мен-

[7] Время от времени, когда никого не было вокруг, когда мама Лена была в настроении, такие сеансы повторялись. Но она никогда не позволяла обнаружить свою нежность ко мне в присутствии сына или своей матери. Чаще всего ее отношение ко мне балансировало между презрением и жестокостью.

тальной профилактики, эмоциональной разрядки. Я, кот, оказался козлом отпущения, безропотной тварью, на которой можно было срывать свой гнев и раздражение. Если точкой опоры можно было назвать ее глубокую несчастливость, то в роли рычага выступал я.

Благодаря запретам я смог сделать несколько открытий относительно себя самого. Я не был злопамятен и мстлив. В любой, даже самой опасной для меня ситуации я старался до последнего встать на точку зрения оппонента, оправдать его, докопаться до истоков, обнаружить те импульсы, которые побудили его причинить мне зло/боль/страдание[8].

Я быстро понял, что от меня требовалось: смягчать нравы Пасечников. Правда, если не считать мамы Лены, нравы домашних и так были куда как мягки. Так что, скорее, мне вменялось разводить черные тучи на небосклоне Пасечников, разряжать грозовую атмосферу в доме. Урчать, ластиться, совершать неловкие прыжки (они особенно умиляли моих домочадцев), часто лежать на спине, раздвинув лапы. Я счастливо справлялся со своей миссией.

Миновала неделя. Природа, как говорится, брала свое. Когти мои быстро отрастали. Стричь их Витя так и не научился, а стачивать когти о линолеум – занятие бесперспективное. С развлечениями дела также обстояли неважно. Мне, ей-богу, надоело гонять по коридору одну и ту же тапку, оставшуюся еще от деда Артема. А к тапкам в этом доме относились с большим почтением. Можно было отыскать тапку какой-нибудь двоюродной прабабки или сводной сестры деда. В семейном альбоме не нашлось бы фотографии второй жены деверя, зато в шкафу всегда можно было отыскать ее тапки. Как они попадали сюда и почему хранились именно здесь, сказать бы уже никто не смог.

Для тапок был устроен специальный шкаф, сбитый отцом деда Артема (тоже Артемом, к слову). Когда дверца приотворялась, шкаф высвобождал наружу едкие пары гуталина. Для Вити это был запах самого́ прошлого. Именно гуталин вдохновил Витю связать свою жизнь с историей. Если речь заходила о том, чтобы наконец выбросить тапки на помойку, со дна Пасечниковых душ всплывало то, что можно было бы назвать *моральными принципами*. И эти принципы предписывали оставить тапки на прежних местах.

Пары были разрознены. Кому-то недоставало левого или правого товарища. Правая тапка внучатой племянницы покоилась в обнимку с правой же тапкой какой-то тети. Многие из родственников никогда друг друга не видели при жизни, зато вот таким экстравагантным образом могли, так сказать, соприкоснуться тенями, завести знакомство уже после своей кончины. Тапочки с трудом умещались в шкафу. Некоторые умудрялись выбраться из шкафа и потом долго дрейфовали по всей квартире.

Да, игрушек было мало. Мне требовались новые тренажеры. Витя себе это наконец уяснил и однажды пришел домой с покупками. Теперь к моим услугам был широкий ассортимент последних достижений в области котоводства:

Мышь лазерная 1 шт.
Мышь механическая на ДУ 1 шт.
Мышь меховая производства *IKEA* (серая и коричневая) 2 шт.
Голова-газон (мелкотравчатая) 2 шт.
Когтедралка (цилиндрическая) 1 шт.
Когтедралка (плоская) 1 шт.
Шарики резиновые со вкусом мяты 4 шт.

Согласитесь, было чем себя занять. Но из всех игрушек по-настоящему я смог подружиться только с икеевской серой мышью. Я назвал ее Стиллавинью, в честь любимой песни мамы Лены. Ах, если бы она только могла об этом узнать. Уверен, что кусочек ее сердца, отве-

[8] Но буду честен, я едва ли в этом преуспел. До истоков я никогда не докапывался, а импульсы не обнаруживал. Но, уверен, одна попытка уже достойна похвалы, не правда ли?

денный для любви ко мне, тотчас бы оттаял. Да, было что-то в Стиллавинью такое, я бы сказал, располагающее. Что-то выжидательное, безобидное и доверчивое. Глухонемое плюшевое создание. Безмолвный хранитель моих исповедей.

Разумеется, в человеческом жилище я до этого никогда не бывал; большинство устройств я видел впервые в жизни, поэтому их смысл и назначение я усвоил не сразу. Но одно хитроумное приспособление вызвало у меня особый интерес. Это был унитаз. Он завораживал меня. Сверху унитаз выглядел… Хм. А как выглядел унитаз? Скажем так: он был похож на троекратное “О”, уменьшающееся в перспективе. Керамика и форма сообщали конструкции невероятные акустические характеристики. Я забирался на ободок и громко, протяжно мяукал. Мой голос отдавал эхом по всей воронке. Таинственные процессы в бачке, журчание ручейка в унитазе напоминали мне Сыромятнический шлюз, обиталище тети Мадлен. Мама Лена замечала меня медитирующим в таком положении, и ей это не нравилось. Она со стуком закрывала крышку унитаза для того, “чтобы кот не утонул”, как она говорила. Но я-то знал, что побуждала ее к этому отнюдь не забота обо мне, а лишь желание ограничить круг моих развлечений.

Однажды я смотрел телевизор. Шла передача про животных. Ведущий рассказывал про жизнь краснолицых обезьян с острова Хонсю. Была зима, шел снег. Обезьяны забирались в горячие термальные источники и проводили там целые дни. Это было восхитительно. Над источником шел пар, смешанный со снегом. Обезьяны, прикрыв глаза, думали о чем-то своем, сугубо обезьяньем, сохраняя при этом царственное, умиротворенное выражение на лицах. Кто-то тихо беседовал с соседом, кто-то спал, опустив голову на плечо родственника или друга. Мне захотелось придумать что-нибудь в том же роде для себя. И я придумал.

По воскресеньям семья собиралась за завтраком. Бабушка готовила яичницу, заваривала чай, нарезала бутерброды, раскладывала на блюдце печенье “Юбилейное”. Все садились за стол и глядели в верхний угол, где висел телевизор. Шла передача “Пока все дома”. Когда чай был выпит, бутерброды подъедены, а ведущий прощался с аудиторией до следующего воскресенья, все расходились по своим комнатам. В это время я запрыгивал на стол и подходил к чайнику. Я аккуратно сбивал крышку и погружался в керамическую емкость. Я устраивал зад на горячем дне, а лапы располагал на внутреннем выступе. Живот приходился прямо напротив жерла, который снаружи оканчивался носиком. Голова оставалась снаружи, и я засыпал. Просыпался как раз тогда, когда чайник уже совершенно остывал. Чайная церемония подходила к концу.

Да, не спорю, это была странная привычка. Но если поначалу мною двигал исключительно дух противоречия, подростковое упрямство, то потом я действительно полюбил эту процедуру, а со временем не мог без нее обходиться. Я делал так каждое воскресенье, пока не вырос и уже не мог поместиться в чайнике. Но я ни разу не был замечен в своих пристрастиях. Нет, никто никогда не видел, как я провожу время после семейного завтрака. Это осталось моей тайной. А каждому живому существу нужна тайна. Живому существу нужен орех, который он спрятал много-много лет назад и никому никогда о нем не говорит.

Нет нужды сообщать, что большую часть суток я проводил во сне. Стоило мне прилечь на подлокотник кресла, задуматься о чем-то под шкафом или просто утомиться от игры, как сон распускался в мозгу коралловой вязью. Естественно, чаще всего мне снились мамочка с сестричками. Снилась коробка и “запорожец”. Тетя Мадлен и стиралка *Ariston*. Однажды приснился даже Савва Морозов. Он сидел за большущим столом, покрытым зеленым сукном, в свете матовой лампы и что-то писал в тетради. Потом он отложил пенсне и внимательно на меня уставился, перебирая большими пальцами сцепленных рук. Мне была назначена встреча. Он достал часы на цепочке, выпустил воздух из надутых щек и развел руками: “Что же это вы, голубчик, припаздываете, а? Время вышло-с!” И меня выдуло из кабинета мощным потоком. Я летел в кромешной тьме, вращался вокруг, не зная, где небо, где земля. Я летел и летел. Я касался хвостом лба, усами задних лап и не знал, куда и зачем меня несет. Я боялся, что

никогда не успокоюсь, что вечно буду вот так вращаться, до скончания веков, пока и сама темнота не сотрется и вместо нее не настанет что-то, чему еще нет даже прообраза.

Иногда мне снилась Яуза. Но она была очень широкой. Другой ее берег едва был виден. Я спускался к воде, где должен был быть мост, но вместо него я видел одни лишь сваи, длинной извилистой грядой тянувшиеся вдаль, покуда хватало глаз. А оттуда, с другого берега, на меня смотрел маленький кот. Я знал, что это мой брат. Я хотел ему что-то крикнуть, но не мог, потому что не знал его имени. И тогда я всегда просыпался.

Пока Витя был на учебе, а мама Лена на работе, бабушка Раиса оставалась дома. Она смотрела сериалы, спала или курила на кухне. У нее была одна маленькая страсть: раз в месяц она доставала из шкафа старые школьные тетради и заново их перепроверяла. Так повторялось из года в год. Тетрадные листы пожелтели, красный цвет отметок полинял. Некоторые из ее учеников давно уже обзавелись не только детьми, но и внуками. Некоторых уже не было в живых, а бабушка все так же продолжала находить в их работах не замеченные раньше ошибки.

Больше всего мне нравилось проводить время в ее комнате. Часы здесь протекали умиротворенно и тихо. Бабушкина память все больше напоминала школьную доску, на которой сквозь сегодняшний урок проступали начертания урока вчерашнего, и позавчерашнего, и позапозавчерашнего. На полке, прислоненная к вазе, стояла овальная фотография бабушкиного мужа Артема. Из вазы выглядывал искусственный букет с глицериновыми каплями росы на листочках. Я укладывал голову на выпуклость в линолеуме и засыпал. Иногда до меня долетали обрывки английских фраз – это бабушка обращалась к своему умершему мужу на фотографии: *“Don’t look at me that way, darling”*[9] или *“It’s only 12 o’clock, my dear. I know you’re hungry but it’s not lunchtime yet”*[10]. Потом она говорила: *“August, come with me”*[11], – и шаркала на кухню. Никто, кроме меня, не знал, что со мной и с дедушкой Артемом она говорила исключительно по-английски.

На кухне она снимала с огня кастрюлю компота, наливала себе стакан и ставила его остывать на подоконник. Я прыгал на окно, созерцал ржавые доспехи сухофруктов в стакане и следил за жизнью двора. Я слышал знакомые голоса. Сквозь листву я мог разглядеть сестричек или мамочку, а иногда их вместе. Мною овладевала невыносимая тоска. Она не имела исхода, и ее нельзя было утолить. Я вставал за задние лапы, а передними стучал по стеклу. Я кричал им. Я звал их. Я просился к ним. Я как мог старался донести до них, что со мною все хорошо, что я здесь, что я думаю о них; что я все тот же Савва – их Савва, а никакой не Август, и что мне ничего, ничего здесь не нужно; что я очень сильно хочу домой, хочу вернуться в коробку. Но они, конечно, меня не слышали. Не слышали и не видели. Тогда мне казалось, что я сплю. Да, это было похоже на дурной сон. Как будто мне снится, что я витаю над родными невидимым, бесплотным духом. Касаюсь их, а они не чувствуют моих прикосновений. Шепчу им прямо на ухо, а они не слышат моего шепота. Я присутствовал среди них привидением. Я был жив, но уже умер.

“The sun is going down, August. It’s always going down, my boy[12], – говорила бабушка Раиса, пробуя компот и вглядываясь за окно в московский холодный пейзаж. – *Kompot is done”.*[13]

Конечно, я не был единственным котом в этом большом доме. Исследуя квартиру, я скоро учуял сородича где-то неподалеку. Эпицентр находился в маминой комнате, в углу у книжных полок. Из угла тянуло терпким, регулярно обновляемым запахом кошачьих феромонов. Кот

---

[9] Не смотри так на меня, дорогой *(англ.)*.

[10] Только 12 часов, милый. Я знаю, ты голоден, но еще не время обедать *(англ.)*.

[11] Август, идем со мной *(англ.)*.

[12] Солнце садится, Август. Оно всегда садится, мой мальчик *(англ.)*.

[13] Компот готов *(англ.)*.

жил этажом выше и метил угол. Что же мне мог сообщить этот запах? Старик. Что-то около шестнадцати лет. Бездельник и прокрастинатор. Больные почки. Хронический конъюнктивит. Запоры. Панкреатит в начальной стадии. Запущенный диабет. Но экземпляр большой витальности и жизнелюбия. По батарее иногда до меня доносился его голос. Чрезвычайно наглый и требовательный. Думаю, он также догадывался о моем присутствии. Но мы так никогда с ним и не встретились. Через несколько месяцев я стал все реже слышать его голос. Затем он совсем умолк. А потом я как-то заметил, что запах в углу под шкафом исчез. Навсегда. Так я понял, что мой сосед ушел из жизни.

Тем временем деревья облетели. Город оказался во власти холодных фронтов. Витюша брал меня на руки и подносил к окну. Я спрашивал его, куда исчезли листья, и он подробно мне это объяснял. Я часами следил за большим тополем, считал оставшиеся на нем листочки. Последний трепыхался так безнадежно, так отчаянно. Но вот ветер сорвал и его и понес за Морозовскую богадельню, к Яузе. Потом стало тихо, будто кто-то выключил звук. Даже машин не было слышно. А потом сверху пошло что-то белое и пушистое. Так я встретил свой первый снег. Все стерлось и пропало. Это было таинственно и величаво. Это было прекрасно. Мне казалось, что и все домашние должны как-то поменяться в соответствии с поворотом годового цикла. Не знаю как, но поменяться. Но никто ничего не заметил. Только с антресолей достали зимние пальто, куртки и шапки, а в прочем все осталось как было. Отрывной календарь на кухне стремительно терял в весе и совсем исчах.

Потом пришел Новый год. Раздвинули стол в большой комнате. Наготовили целую флотилию всевозможных салатниц, блюд, кастрюль и мисок. Подарили друг другу комплекты постельного белья и чехлы для телефонов. Мне досталась палочка с опереньем на конце (к слову, дельная штуковина). Судя по количеству съестного, я ожидал, что у Пасечников соберется весь подъезд, но пришли только две подруги Лены в одинаковых кофтах бордового и коричневого цвета. Одна держала меня на коленях и мусолила мне нос пальцем. Другая зачем-то меня перекрестила. Потом пришел какой-то мужик. Я с трудом узнал в нем соседа с мусорным ведром, который встретился на площадке в мой первый день у Пасечников. Около трех ночи заявился Боря. Он был уже седым и грузным мужчиной. Передвигался по городу с водителем. Как ни в чем не бывало сообщил, что Сережа купил недавно квартиру на Пятницкой и во второй раз женился. И сообщил это так просто, как будто Лена уже давным-давно знала, что ни в какой Хьюстон Сережа не уезжал и даже не собирался уезжать, как будто Лена с Борей сто раз уже обсуждали и ее с Сережей размолвку, и перипетии дальнейшей Сережиной жизни. Между тем за все эти годы они ни разу на эту тему не обмолвились и двумя словами. Так что Лена даже подумала: “А о чем они вообще с Борей все эти годы говорили? О чем они вообще могли говорить?” И вдруг с тихим ужасом, от которого хотелось приложить к щеке ладонь, сама себе отвечала “Ни о чем”.

Потом включили телевизор. По всем каналам шли концерты и шоу. Одни и те же странные люди в чем-то блестящем и пестром беззастенчиво переходили из одной передачи в другую, из студии в студию. Они изо всех сил притворялись, что им весело. Но чем больше они старались, тем яснее становилось, что на самом деле им очень грустно и что они порядком устали. Они подбрасывали конфетти и мишуру, повторяли глупые шутки. Они делали вид, что вытирают выступившие от смеха слезы. И они носили все эти нелепые наряды, наклеенные бороды, гипертрофированные носы и уши с таким видом, как будто хотели сказать: “Вы-то нас знаете совсем другими, а тут мы, так сказать, немножечко шалим. Обожайте же нас и впредь!” Впрочем, так оно, судя по всему, и было. Их обожали. Бабушка, мама и гости обсуждали детали их личной жизни с таким знанием дела, что можно было подумать, все эти странные люди – их ближайшие друзья и что только по недоразумению они не смогли присутствовать сегодня на празднике в Шелапутинском. Я даже испугался: а ну как они как возьмутся за руки и повалят к нам из экрана в комнату веселой гурьбой!

Ближе к полуночи в телевизоре возникла хвойная аллея и торжественно затрубили медные. Кадр занял серьезный лысоватый мужчина в черном. Он смотрел на нас сочувственно и с пониманием. Коротко перечислив положительные моменты уходящего года, он с энтузиазмом заглянул в год наступающий. Он знал, как нам нелегко, и лично обещал, что в следующем году станет легче. Потом забили часы на красной башне, и им хрипло вторила наша кукушка. Боря, сосед Дима, подруги в бордовом и коричневом и Пасечники на разные голоса закричали “Ура!”. Они наспех писали на клочках бумаги свои желания, сжигали их и бросали в шампанское. Потом чокались и обнимались. Я прижал к себе Стиллавинью и тоже шепнул ему на ухо “Ура”.

Дни слагались в недели, недели в месяцы. Поначалу квартира, подобно первобытному этапу компьютерной стратегии, в которую играл Витя, была окутана черным туманом неизвестности, и, чтобы мрак хоть немного рассеялся, требовалось отправить на все четыре стороны отряды смельчаков. Меня окружала опасность, на душе было тревожно. Теперь же каждый угол, закуток, лощина и альков были мной исследованы и изучены. Не оставалось ни единой полки, куда бы я не сунул нос, ни единого выступа, на который я бы не запрыгнул. Но – странное дело – мне этого стало недостаточно. Не знаю, как это точно объяснить. Во мне стала просыпаться чуждая мне сила… страсть к собственничеству. Мне было мало изучить, теперь мне стало необходимо присвоить квадратные метры, на которых я проживал.

День ото дня эта страсть увеличивалась, нарастала и подчиняла себе всю мою натуру. Мною как будто водила невидимая рука. Я слонялся из угла в угол, прыгал с полки на полку, отыскивая что-то, чему и сам не знал названия, многократно обнюхивал обнюханное и скреб обскребанное. На исходе февраля, когда струи Водолея иссякли и он, взвалив пустой кувшин на плечи, отправился домой, в свои зодиакальные чертоги, мое гнетущее состояние достигло пика.

Сам не знаю, как так получилось. Я протрусил к шкафу-стенке в комнате Вити, выбрал нижнюю правую дверцу полки, повернулся к ней задом и обильно оросил ее струей. Я ужаснулся содеянному и убежал советоваться со Стиллавинью, как дальше жить и во что теперь верить. Стиллавинью долго молчал, соображал, открыл было рот, но снова углубился в размышления. Наконец он посоветовал мне жить как жил и верить, во что всегда верил. Я поблагодарил оракула и отправился на кухню подкрепиться, возможно, в последний раз в стенах этого дома.

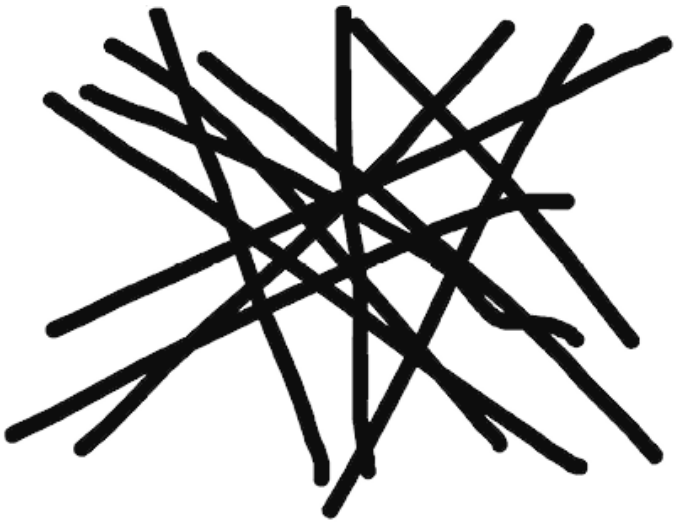
Витя пришел из института и сразу отправился на дополнительные занятия к известному профессору истории Василию Олежику. Домой он вернулся очень поздно и тотчас уснул. Так прошло несколько дней. Никто ничего не заметил. Я успокоился.

Но через несколько дней я проснулся около полудня. Внутри что-то свербело, что-то меня беспокоило. Так одержимый живописец вскакивает посреди ночи и шлепает, натыкаясь на мебель, к холсту, чтобы окончить лесную опушку, дамский нос или отсвет на виноградинке. Вдыхая через оконную щель весенние запахи, я вдруг исполнился какой-то безымянной неги; по жилам моим пробежал огненный ток; между задних лап что-то чесалось и требовало немедленных мер. Что-то очень сильное, громкое и оранжевое гудело во всем моем теле. Я увидел во дворе своих сестричек, и, признаюсь, по поводу них в моей голове созрели очень нехорошие мысли. Буду откровенен, те же нехорошие мысли возникли у меня даже по поводу мамочки. Это было ужасно. Я обернулся, как будто кто-то мог прочитать мои мысли. И кто-то их прочитал. Это был Стиллавинью. Я спрыгнул на пол и дал ему по морде со всей силы, так что он улетел в коридор.

Мне снова понадобилось сделать *это*. Я вошел в комнату мамы Лены, прыгнул на кровать и оставил над изголовьем свой инициал. Мне сразу полегчало, и я успокоился.

В течение недели я проделывал то же самое по всей квартире: на кухне, в ванной, в коридоре, во всех трех комнатах. Я сам плохо понимал, зачем мне это нужно. В этом был какой-то бессознательный бунт против сложившейся геометрии комнат, в этом была претензия на новый порядок, провозглашение независимого кошачьего анклава внутри человеческого государства Пасечников.

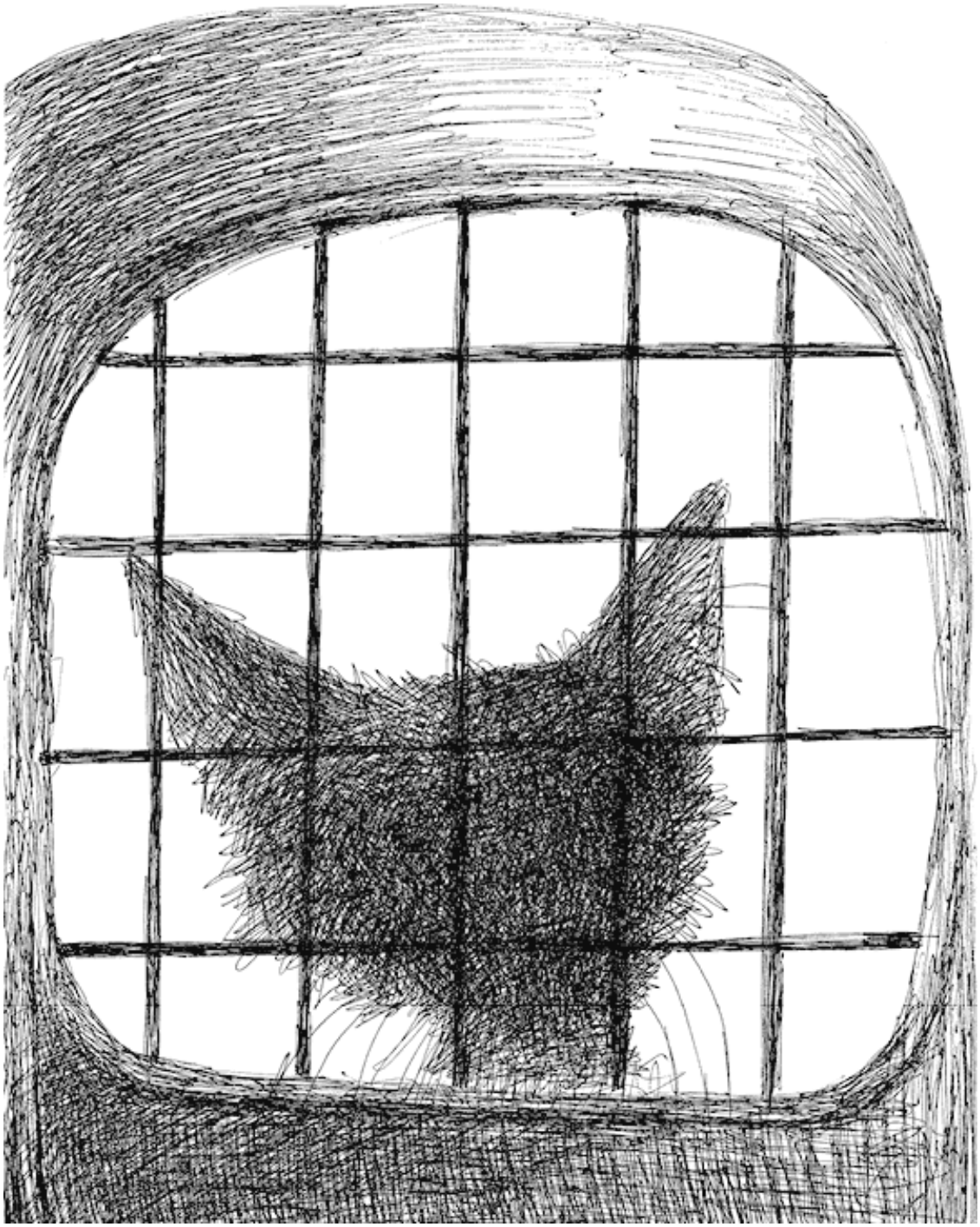
Размышляя о структуре меток, я начертил себе следующую схему. Ее можно представить в виде расходящихся в разные стороны векторов:



Кажется, все ясно, да? Я догадывался, что мои новые привычки едва ли придутся по душе Вите, бабушке и в особенности маме Лене. Но они терпели. Неделю, две, три. Месяц. Потом все-таки не выдержали.

По календарю было начало апреля, но ничто не предвещало скорой весны. Солнце стояло высоко, светило ярко, однако свет был холодным и вовсе не грел. Ночью на город неожиданно обрушился буран, выбелил его наново и так же внезапно отступил под утро. Уже демобилизованные шубы и пальто были снова вызволены из шкафов и с антресолей. Шелапутницы грустно брели по улицам и уже всерьез сомневались, что тепло в этом году доберется до Москвы.

И вот пришел день. Тот самый день. Несколько часов меня морили голодом и мучили жаждой: спрятали от меня миски. Потом я был насильно помещен в переноску, и вместе с Витей мы отправились в мое первое путешествие по городу.



Мир, рассеченный на продольные и поперечные полосы решетки, был загадочен и обаятелен. Тысячи позабытых с лета запахов ударили мне в нос. Это было похоже на то, как жильцы, возвращаясь в покинутые дома, стирают пыль с предметов и проводят по клавишам старого пианино. Вот так же оживали во мне воспоминания о запахах. Они искрились, мерцали и вращались вокруг. У меня закружилась голова.

Витюша шел по улице, в одной руке держа переноску, а в другой сжимая загодя отсчитанную мелочь на метро. Мы спустились под землю, там пахло металлической стружкой, похмельем и потом. Я был в ужасе и в восторге от рева вагонов, от огней в туннеле, от убранства станций метро. Некоторые станции, те, что попроще, напоминали увеличенную во сто раз ванную комнату в доме Пасечников, некоторые, наоборот, как будто были составлены из гигантских кусков говядины. И казалось, что их стены, арки и колонны кровоточат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.